

СЕРИЯ
СЕРИЯ
СЕРИЯ
СЕРИЯ
СЕРИЯ

КОРЬ САНА



- [Жорж Санд](#)
 -
 - [КОММЕНТАРИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Жорж Санд

Ускок

— Кажется, Лелио, — сказала Беппа, — мы вогнали в сон достойного Ассейма Зузуфа.

— Ему скучно слушать наши рассказы, — заметил аббат. — Он человек слишком серьезный, чтобы его занимали такие легковесные сюжеты.

— Простите, — ответил мудрый Зузуф. — На моей родине страстно любят слушать рассказы. В наших кофейнях постоянно выступают рассказчики, как у вас — импровизаторы. Свои повествования они ведут то в прозе, то в стихах. На моих глазах английский поэт слушал их целыми вечерами.

— Какой английский поэт? — спросил я.

— Тот, кто воевал на стороне греков и от кого европейцы узнали историю Фрозины и еще другие восточные предания, — сказал Зузуф.

— Пари держу, что он не знает имени лорда Байрона! — вскричала Беппа.

— Отлично знаю, — возразил Зузуф. — Я только не решаюсь его выговорить, потому что, когда я это делал при нем самом, он всегда усмехался. Видно, я очень плохо произношу.

— При нем! — вскричал я. — Значит, вы с ним встречались?

— Часто встречался, главным образом в Афинах. Там-то я и рассказал ему историю ускока, которую он изложил по-английски в «Корсаре» и «Ларе».

— Как, дорогой Зузуф, — сказал Лелио, — так это вы — автор поэм Байрона?

— Нет, — ответил керкирец, которого эта шутка нисколько не рассмешила.

— Он ведь совсем изменил эту историю, да к тому же я вообще не могу быть ее автором, так как она — быль.

— Ну, так вы нам ее расскажете, — сказала Беппа.

— Но вам она должна быть известна, — ответил он. — Это ведь скорее венецианская повесть, чем восточная.

— Я слышала, — продолжала Беппа, — что сюжет «Лары» навеяла Байрону смерть графа Эдзелино, которого — дело было в эпоху морейских войн — убил ночью у перевала Сан-Миниато какой-то ренегат.

— Значит, — сказал Лелио, — это не тот знаменитый мрачный Эдзелин...

— Кто может знать, — вмешался аббат, — кем был на самом деле тот Эдзелин и в особенности Конрад? Зачем доискиваться, какая историческая правда лежит в основе красивой, поэтической выдумки? Не означает ли это лишить ее всякой прелести и аромата? Если бы что-нибудь могло умерить мое поклонение Байрону, так это историко-философские примечания, которыми ему вздумалось подкрепить правдоподобие своих поэм. К счастью, теперь уже никто не требует от него отчета, откуда взялись его божественные выдумки, и мы знаем, что самое исторически достоверное лицо его поэм — это он сам. Благодаря богу и своему гению он изобразил себя в этих возвышенных образах. Да и какая другая модель была бы достойна позировать такому художнику?

— Все же, — сказал я, — мне хотелось бы обнаружить в каком-нибудь позабытом, темном уголке материалы, которыми он пользовался, воздвигая эти величественные здания. Чем проще и грубее они оказались бы, тем больше восхищался бы я искусством, с которым он их применил. Вот так же точно хотел бы я видеть женщин, послуживших моделью для мадонн Рафаэля.

— Если вам любопытно знать, кто первый корсар, которого Байрону пришло в голову прославить под именем Конрада, или Лары, — сказал аббат, — нам, я думаю удастся его обнаружить, ибо мне известна одна история, имеющая поразительные черты сходства с этими двумя поэмами. Наверное, дорогой Ассейм, ту же самую историю вы и рассказали английскому поэту, когда подружились с ним в Афинах?

— Видимо, ту же, — ответил Зузуф. — Но раз вы ее знаете, так и расскажите сами: вам это будет легче сделать, чем мне.

— Не думаю, — ответил аббат. — Много я позабыл или, вернее сказать, никогда как следует не знал.

— Так расскажем ее вместе, — сказал Зузуф. — Вы поможете мне в той части, что происходила в Венеции, а я вам во всем, что

имело место в Греции.

Предложение было принято. Оба приятеля говорили по очереди, иногда споря по поводу собственных имен, дат и подробностей, которые аббат, весьма дотошный историк, объявлял вдруг вымышленными, в то время как левантинец, которому дороже всего была игра фантазии, совершенно не обращал внимания на анахронизмы или топографические ошибки. И таким образом история ускока дошла до нас в этих обрывках. Я попытаюсь соединить их в нечто целое, хотя, может быть, память мне во многом изменит и я не окажусь столь точным, как этого мог бы пожелать аббат Панорио, если бы он прочитал эти страницы. Но, к счастью для нас, эти наши рассказы оказались достойными попасть в индекс его святейшества (что наверняка никому не пришло бы в голову), а так как его величество император австрийский, *которого тоже никто не ожидал бы увидеть замешанным в это дело*, в Венеции проводит в жизнь все папские запреты, можно не опасаться, что мой рассказ станет там известен и получит хотя бы самое ничтожное опровержение.

— Во-первых, что такое ускок? — спросил я в тот момент, когда достойнейший Зузуф разгладил бороду и уже раскрыл рот, чтобы начать свое повествование.

— Невежда! — произнес аббат. — Слово *uscosso* происходит от *soso*, что по-далматски значит *перебежчик*. Ускоки, их происхождение и различные приключения занимают в истории Венеции немалое место. К ней я вас и отсылаю. Пока же вам достаточно узнать, что австрийские императоры и принцы нередко использовали этих разбойников для защиты приморских городов от нападений турок. А чтобы не платить этому устрашающему гарнизону, который малым бы не удовольствовался, Австрия закрывала глаза на пиратские деяния ускоков, и они грабили все, что им встречалось в Адриатике, губили торговлю республики и разоряли провинции Истрии и Далмации. Долгое время они гнездились в Сени, в глубине Кварнерского залива, где под защитой высоких гор и густых лесов успешно отражали многочисленные попытки уничтожить их. Около 1615 года между Венецией и Австрией заключен был договор, который наконец выдал их мщению венецианцев, и побережье Италии было от них очищено. Таким образом, ускоки как нечто целое перестали существовать, и, вынужденные рассеяться, они принялись

странствовать по морям и умножили число флибустьеров, которые всегда и всюду вели войну с торговлей любых наций. И долго еще после изгнания этого люда, самого дикого, грубого и свирепого из всех, живущих убийством и грабежом, одно слово ускок вызывало ужас и ненависть у наших военных и торговых моряков. Тут как раз уместно обратить ваше внимание на различие между званием корсара, которое Байрон дал своему герою, и ускока, которое носил наш. Различие это приблизительно то же, какое существует между бандитами в современной драме и опере и разбойниками с большой дороги, авантюристами из романов и обыкновенными мошенниками — словом, между фантазией и действительностью. Подобно корсару Конраду, наш ускок происходил из благородного дома и аристократического общества. Однако дело не в этом: поэту угодно было в заключение сделать его великим человеком, да иначе и быть не могло, ибо — пусть уж не гневается наш друг Зузуф — он постепенно позабыл о герое его афинского рассказа и видел в Конраде уже только лорда Байрона. Что же до нас, стремящихся не отходить от исторической правды и оставаться верными реальной жизни, то мы покажем вам гораздо менее благородного пирата.

— Корсар в прозе! — сказал Зузуф.

— Для турка он очень остроумен и весел, — сказала мне тихонько Беппа.

Рассказ наконец-то начался.

В конце семнадцатого столетия — в те годы, когда разразилась знаменитая морейская война, в правление дожа Маркантонио Джустиньяни, — жил в Венеции потомок венецианских дождей, последний представитель рода Соранцо, Пьер Орио, который как раз проедал и проживал остатки огромного состояния. Это был еще молодой человек, отличавшийся красотой, редкостной силой, бурными страстями, неукротимой гордыней и неутомимой энергией. По всей республике славился он своими поединками, расточительностью и разгульным образом жизни. Казалось, он нарочно испытывает все способы растратить свои жизненные силы, однако — безуспешно. Сталь меча не могла причинить вреда его телу, никакие излишества не подтачивали его здоровья. Но с богатством вышло совсем по-другому: оно не устояло против каждодневных

обильных кровопусканий. Видя, что приближается разорение, друзья пытались образумить его, задержать у края роковой пропасти. Однако он ни на что не пожелал обратить внимание и на самые благоразумные речи отвечал только шутками или дерзостями, одного обзывая педантом, другого — подголоском пророка Иеремии, и просил всех, кому его вино не по вкусу, идти пить в другое место, грозя ударами шпаги всякому, кто вернется надоедать ему разговорами о делах. Так он и поступал до самого конца. Когда же все его имущество было полностью растрачено и оказалось, что продолжить прежний образ жизни совершенно невозможно, он впервые по-настоящему задумался о своем положении. Хорошо все обдумав, он решил, что возможны три выхода: первый — пустить себе пулю в лоб и предоставить заимодавцам разбираться, как они уж там смогут, среди разбросанных в разные стороны осколков его богатства; второй — уйти в монастырь; третий — привести в порядок дела, а затем отправиться воевать с турками. Этот третий выход он избрал, решив, что лучше уж пробивать черепа другим, чем самому себе, и что это последнее всегда успеется. Поэтому он продал все свои владения, заплатил долги, а на оставшиеся деньги, на которые ему не прожить было бы и двух месяцев, снарядил и вооружил галеру и двинулся навстречу басурманам. Их он заставил дорого заплатить за свои юношеские безумства. Всех, кто попадался на его пути, он атаковал, грабил и уничтожал. Очень скоро его небольшая галера стала грозой Адриатики. Когда война окончилась, он возвратился в Венецию прославленным капитаном корабля. Желая показать, как ценит республика его услуги, дож поручил ему на следующий год весьма ответственный пост во флоте, которым командовал знаменитый Франческо Морозини. Последний не раз был свидетелем удивительных подвигов Соранцо, восхищался его военными дарованиями и храбростью и чувствовал к нему самое дружеское расположение. Орио сразу сообразил, какую выгоду сможет он извлечь из этой дружбы для своего личного продвижения. Поэтому он использовал все средства для ее укрепления и оказался достаточно умен, чтобы стать сперва любимцем командующего, а затем и породниться с ним.

У Морозини была племянница лет восемнадцати, прекрасная и добрая как ангел, — единственная его привязанность, и он относился

к ней, как к родной дочери. Если не говорить о славе республики, то ничто другое на свете не было ему дороже, чем счастье этой обожаемой им девушки. Поэтому он давал ей во всем и всегда поступать по ее воле. А если кто-либо, считая эту крайнюю уступчивость опасной слабостью, упрекал его за излишнее баловство, он отвечал, что рожден на свет божий воевать с турками, а не со своей дорогой Джованной; что старики и без того докучают молодежи своим возрастом, — нечего добавлять к этому длинные проповеди и унылые наставления; что к тому же алмазы никогда не портятся, что бы с ними ни делать, а Джованна — драгоценнейший на земле алмаз. Вот он и предоставил девушке в выборе мужа, как и во всем остальном, полнейшую свободу, ибо у него хватало богатства, чтобы не принимать в расчет состояния того, за кого она пожелает выйти.

Среди многочисленных претендентов на ее руку Джованна обратила благосклонное внимание на юного графа Эдзелино из рода князей Падуанских, чей благородный характер и добрая слава достойно поддерживали честь высокого имени. Несмотря на свою молодость и неопытность, она сразу увидела, что его влекут к ней не тщеславные и корыстные соображения, как других, а искренняя любовь и нежность. И она вознаградила его за это уважением и дружбой. Она готова была даже назвать любовью свои чувства к нему, и граф Эдзелино льстил себя надеждой, что зажег в ней такую же страсть, какую испытывал сам. Морозини дал уже согласие на этот достойный брак; ювелиры и ткачи готовили свои самые ценные и редкостные товары для наряда невесты; весь аристократический квартал Дель Кастелло собирался участвовать в празднествах, которые должны были продолжаться несколько недель. Повсюду украшались гондолы, обновлялись наряды, и все наперебой старались обнаружить хоть какое-нибудь родство со счастливым женихом, которому предстояло обладать самой красивой женщиной и стать хозяином самого блестящего дома во всей Венеции. День был назначен, приглашения разосланы, в обществе только и говорили, что об этой аристократической свадьбе. И вдруг начали передавать из уст в уста какую-то странную новость: граф Эдзелино прекратил все приготовления к свадьбе и оставил Венецию. Одни уверяли даже, что он убит; другие — что по приказу Совета Десяти его подвергли изгнанию. Но почему для его отсутствия находили причины столь

зловещие? Во дворце Морозини по-прежнему царила суэта и шум: приготовления к свадьбе продолжались, приглашения оставались в силе. Прекрасная Джованна отправилась со своим дядей в деревню, но ко дню свадебного торжества должна была возвратиться. Так писал флотоводец своим друзьям, приглашая их участвовать в радостном семейном празднестве.

С другой стороны, люди, достойные доверия, встречали якобы графа Эдзилино в окрестностях Падуи, где он с необычайным пылом увлекался охотой, никак, видимо, не торопясь вернуться в Венецию. А согласно самым последним слухам, он будто бы удалился на свою виллу и заперся там в горести и одиночестве, проводя в слезах бессонные ночи.

Что же, собственно, происходило? Венецианцы — самые любопытные на свете люди. Тут же все давало обильную пищу дамским пересудам и насмешливым выпадам молодых людей. Несомненным оставалось, по-видимому, что Морозини выдает племянницу замуж. Однако никто не сомневался в том, что выдает он ее не за Эдзелино. По какой же таинственной причине брак этот оказался расторгнутым накануне заключения? И какой другой жених нашелся, словно по волшебству, для замены единственного претендента, казавшегося до последнего времени наиболее подходящим? Все терялись в догадках.

В один прекрасный вечер можно было заметить, как по Фузинскому каналу скользит очень скромного вида гондола. Но шла она так быстро и гондольеры имели такой бравый вид, что всем стало ясно: некое весьма высокопоставленное лицо инкогнито возвращается из деревни. Несколько катавшихся по тому же каналу бездельников подошли на близкое расстояние к этой гондоле и увидели высокородного Морозини, сидевшего рядом с племянницей. У ног Джованны полулежал Орио Соранцо, и в нежной заботливости, с которой Джованна гладила белого красавца — борзого пса Орио, сквозил целый мир наслаждений, надежды и любви.

— Подумать только! — вскричали все дамы, дышавшие вечерней прохладой на террасе дворца Мочениго, когда через какой-нибудь час новость дошла до светского люда. — Орио Соранцо! Этот шалопай! — Затем воцарилось глубокое молчание, и никто не задал себе вопроса — как же могла случиться подобная вещь? Те из дам, кто громче всего

высказывали свое презрение к Орио Соранцо и жалость к Джованне, слишком хорошо знали, насколько Орио неотразим.

Однажды вечером Эдзелино, который весь день провел в гуще леса, преследуя вепря, возвратился домой грустный и усталый. Охота была замечательной, и верховые егеря графа удивлялись, как это чело их господина не разгладилось от столь удачного дня. Его унылый вид и мрачный взгляд как-то уж очень не соответствовали фанфарам и залиvistому собачьему лаю, отдававшимся веселым эхом на башенках старого замка. Когда граф переезжал через подъемный мост, курьер, прибывший за несколько минут до него, вышел ему навстречу и, держась рукой за поводья своего тяжело дышащего, запыленного коня, протянул ему, склонясь почти до самой земли, письмо, которое только что привез. Граф, бросивший на него сперва довольно холодный и рассеянный взгляд, вздрогнул при имени, которое произнес посланец. Судорожным движением схватил он письмо, остановил своего горячего скакуна так резко, что поднял его на дыбы, затем на мгновение застыл в мрачной нерешительности, словно намереваясь ответить на переданное ему послание презрительным и дерзким словом. Но, почти сразу же успокоившись, он дал посланцу золотой цехин и спешился прямо на мосту, словно считал, что подъехал уже к дверям, ведущим в его покои. Он небрежно бросил поводья своего благородного коня, и они так и влачили по пыльной земле.

Около часа сидел он, запершись, в своем кабинете, пока не явился его берейтор. Курьер, повинувшись приказу своих господ, собирается возвращаться в Венецию, доложил берейтор, и спрашивает, что велит передать им благородный граф. Эдзелино словно очнулся от сна. По его знаку берейтор подал ему письменные принадлежности, и на следующее утро Джованна Морозини получила из рук курьера нижеследующий ответ.

«Вы пишете, сударыня, что в обществе ходят разного рода слухи по поводу вашего предстоящего замужества и моего отъезда. Согласно одним, я заслужил немилость вашей семьи каким-то низким поступком или постыдной связью. Согласно другим, у меня имеются настолько основательные причины жаловаться на вас, что я мог нанести вам такое оскорбление, как отъезд накануне брака. Что до первого из этих слухов, то вы, сударыня, слишком добры и проявляете излишнюю обо мне заботливость. Сейчас я весьма мало чувствителен

к тому, как будет воспринято обществом мое несчастье; само по себе оно достаточно велико, чтобы я не усугублял его менее важными заботами. Что до второго предположения, о котором вы пишете, я вполне понимаю, как должна страдать от него ваша гордость. Гордость же эта, сударыня, основывается на притязаниях слишком законных, чтобы я стал восставать против того, что она вам в данный момент подсказывает. Решение ваше жестоко, тем не менее в жалобах своих я ограничусь тем, что все выскажу вам сейчас, а назавтра подчинюсь вашей воле. Да, я вновь появлюсь в Венеции и, рассматривая ваше приглашение как приказ, буду присутствовать на вашей свадьбе. Вы желаете, чтобы я всем явил зрелище своей скорби, вы хотите, чтобы вся Венеция прочла на лице моем приговор вашего пренебрежения. Я согласен с тем, что мнение общества должно заклать одного из нас во славу другого. Дабы вашу милость не могли обвинить в измене или вероломстве, надо, чтобы меня высмеяли, чтобы на меня показывали пальцем, как на дурака, который терпеливо сносит, что его так вот, с сегодня на завтра, заменяют другим. Я от всего сердца на это соглашаюсь, — забота о вашей чести мне дороже собственного достоинства. Пусть, однако же, те, кто найдет меня чересчур покладистым, приготовятся дорого заплатить за это! Триумф Орио Соранцо будет полным: за его колесницей пройдет даже побежденный со связанными за спиной руками и печатью позора на челе! Но пусть Орио Соранцо никогда не перестанет казаться вам достойным такой славы, ибо если это случится, побежденный, пожалуй, ощутит, что руки у него свободны, и докажет ему, что забота о вашей чести, сударыня, — главное, единственное попечение вашего верного раба, и т.д.».

В таком духе составлено было это письмо, вдохновенное возвышенными чувствами, но во многих местах написанное стилем, свойственным тому времени, — настолько напыщенным и перегруженным всевозможными антитезами и другими витиеватыми фигурами, что я принужден был для более ясного понимания изложить его на более современный лад.

На следующий день с закатом солнца граф Эдзелино покинул замок и спустился вниз по течению Brenty в своей гондоле. Когда к утру он прибыл в палаццо Меммо, там все еще спали. Благородная госпожа Антония Меммо была вдовой Лотарио Эдзелино, дяди

молодого графа. Находясь в Венеции, граф всегда жил у нее, тем более что поручил ей воспитание своей сестры Арджирии, пятнадцатилетней девицы, необычайно красивой и обладающей таким же благородным сердцем, каким обладал и он сам. Эдзелино любил сестру не меньше, чем Морозини — свою племянницу. Она была единственной оставшейся у него близкой родственницей и до знакомства с Джованной Морозини единственным существом, которое он любил. Теперь Джованна бросила его, и он с еще большей нежностью возвращался к своей юной сестре. Когда он приехал, во всем дворце только она одна уже не спала. Она бросилась ему навстречу и оказала самый сердечный прием. Но Эдзелино почудилось в ее приветливости какое-то легкое смущение или даже опасение. Он принялся расспрашивать ее, но так и не разузнал невинной тайны. Однако он понял причину ее озабоченности, когда она стала умолять его немного поспать, вместо того чтобы выйти в город, как он намеревался. Сестра словно стремилась скрыть от него некую неминуемую беду, и когда она вздрогнула, услышав большой колокол башни Святого Марка, Эдзелино был уже совершенно уверен в правильности своего предположения.

— Крошка моя Арджирия, — сказал он ей, — ты думаешь, я не знаю, что здесь готовится? Ты боишься моего присутствия в Венеции в день свадьбы Джованны Морозини. Не опасайся ничего: ты же видишь — я спокоен. Я даже нарочно приехал, чтобы присутствовать на этой свадьбе по полученному мною приглашению.

— Неужто они посмели тебя пригласить?! — вскричала девушка, стиснув руки. — У них хватило наглости и бесстыдства известить тебя об этом браке? О, я ведь была подругой Джованны! Бог свидетель, что пока она любила тебя, и я любила ее как сестру. Но сейчас я ее презираю и ненавижу. Меня ведь тоже пригласили на ее свадьбу, но я не пойду. Я сорву цветы с ее головы, разорву ее венчальную фату, если увижу, что в таком уборе она выступает об руку с твоим соперником. О, боже! Предпочесть моему брату этого Орио Соранцо, распутника, игрока, человека, который презирает всех женщин и который свел в могилу свою мать! Как, брат мой, ты встретишься с ним лицом к лицу? О, не ходи туда! Раз ты хочешь идти, значит ты задумал что-то ужасное. Не ходи, покарай презрением эту пару, недостойную твоего

гнева. Пусть Джованна наслаждается своим горьким счастьем. В нем она найдет свою кару.

— Дитя мое, — ответил Эдзелино, — я очень тронут твоей заботой, я счастлив, что ты так сильно любишь меня. Но не опасайся ни гнева моего, ни скорби; ты ведь понятия не имеешь, что именно у меня произошло. Знай, девочка моя, что Джованна Морозини ни в чем передо мной не провинилась. Она меня полюбила и простодушно в этом призналась, она согласилась выйти за меня замуж. Потом появился другой, человек более ловкий, более дерзновенный, более предприимчивый, которому нужно было ее богатство и который, чтобы заполучить ее, сумел стать влечеречивым оратором и великим актером. Он победил, она предпочла его. Она мне сама это сказала, и я отошел в сторону. Она сказала мне это искренно, с кротостью и даже добротой. Так что не надо тебе ненавидеть Джованну, останься ее подругой, как я остаюсь ее слугой. Поди, разбуди тетю, попроси ее нарядить тебя в самый лучший твой наряд и пойди вместе со мной и с тобой на свадьбу Джованны Морозини.

Велико было изумление тетки, когда расстроенная девушка сообщила ей о намерениях графа. Но она нежно любила его, верила ему и преодолела свое нежелание присутствовать на свадьбе. Обе женщины в богатых нарядах отправились вместе с графом Эдзелино в собор святого Марка; пожилая одета была с величавой, тяжелой роскошью старины, юная — со вкусом и изяществом, свойственными ее летам.

Одевались они довольно долго, и потому когда Эдзелино появился вместе с ними на паперти базилики, месса и брачная церемония пришли уже к концу. Входя в церковь, он, таким образом, очутился лицом с Джованной Морозини и Орио Соранцо, которые, держась за руки, как раз выходили из храма во главе торжественной процессии. Джованна и впрямь была жемчужиной красоты, *жемчужиной Востока*, как тогда говорили, и белые розы ее свадебного венка были не чище и не свежее, чем юное чело, которое они окружали девственной диадемой. Самый красивый из пажей нес за нею длинный шлейф ее платья из серебряной парчи, с корсажем, затянутым усеянной брильянтами сеткой. Но ни красота ее, ни убор не ослепили юную Арджирию. Не менее прекрасная, не менее роскошно одетая, она крепко сжала руку брата и уверенно двинулась

навстречу Джованне. Ее горделивая осанка, полный упрека взгляд и чуть горькая улыбка смутила Джованну Соранцо. Она побледнела, как сама смерть, увидев брата и сестру: его — безмолвного и спокойного, как не знающая выхода безнадежность, ее — казавшуюся живым выражением скрытого негодования Эдзелино. Орио почувствовал, как его юная жена пошатнулась, но, казалось, он даже не увидел Эдзелино. Все его внимание обратилось к Арджирии, и он устремил на нее странный, пристальный взгляд, в котором смешивались пылкое восхищение и наглость. Арджирию этот взгляд смутил не меньше, чем ее собственный — Джованну. Она, вся трепеща, оперлась на руку Эдзелино, а возникшее в ней чувство приняла за ненависть и возмущение.

Тогда Морозини подошел к Эдзелино, обнял его, и эти знаки расположения показались своего рода протестом против предпочтения, оказанного Джованной Орио Соранцо. Свадебное шествие остановилось, и любопытные сгрудились, чтобы получше увидеть сцену, в которой они надеялись найти объяснение неожиданной развязки помолвки Эдзелино и Джованны. Однако любители скандальных происшествий разошлись неудовлетворенными. Рассчитывали, что с той и другой стороны последуют вызовы, шпаги вылетят из ножен, а вместо этого увидели объятия и поздравления. Морозини приложился к руке синьоры Меммо и поцеловал в лоб Арджирию, к которой привык относиться как к дочери. Потом он тихонько привлек ее к себе, и молодая девушка, не устояв перед безмолвной просьбой всеми чтимого вельможи, подошла совсем близко к Джованне. Та бросилась к старой подруге и в неудержимом порыве расцеловала ее. Тут же она протянула руку Эдзелино, который спокойно и почтительно коснулся губами ее пальцев, прошептав:

— Ну как, сударыня, вы мною довольны?

— Вы навеки мой друг и брат, — ответила ему Джованна.

Она не отпускала от себя Арджирию, а Морозини взял под руку синьору Меммо и увлек за собой также Эдзелино, опершись на его руку. Таким образом шествие снова двинулось вперед и дошло до гондол под звуки труб и приветственные клики народа, который бросал цветы под ноги новобрачной, как бы взамен денег, щедро разбросанных ею с церковной паперти. Так и не пришлось на этот раз

никому судить да рядить о неудаче отвергнутого жениха и торжестве предпочтенного. Заметили только, что оба соперника были очень бледны и что, стоя в двух шагах друг от друга, ежеминутно соприкасаясь, все время переговариваясь с одними и теми же собеседниками, они прилагали все старания к тому, чтобы не смотреть друг другу в лицо и не слушать, что каждый из них говорит.

Когда все прибыли во дворец Морозини, вельможа прежде всего отвел в сторону графа и его дам и горячо выразил им свою благодарность за столь великодушное проявление миролюбия.

— Мы вынуждены были так поступить, — ответил Эдзелино почтительно, но с достоинством, — и если бы это зависело только от меня, то сейчас же после разрыва нашей помолвки моя благородная тетушка первая пошла бы навстречу синьоре Джованне. К тому же я, может быть, проявил некоторое малодушие, удалившись в деревню. Однако я был настолько удручен, что одиночество оказалось мне действительно необходимым. Только в этом мое оправдание. Сейчас я покорился воле судьбы, и если выражение моего лица выдает подавляемые с трудом сожаления, то я не думаю, чтобы кто-нибудь осмелился открыто выказать свое торжество по этому поводу.

— Если бы мой племянник на беду свою сделал что-либо подобное, — ответил Морозини, — он навсегда утратил бы мое уважение. Но этого не случится. Правда, Орио Соранцо не тот супруг, которого я бы сам избрал для моей Джованны. Из-за мотовства и беспутства его ранней юности я дал согласие не без колебаний, хотя племяннице под конец и удалось его у меня вырвать. Однако правда остается правдой: если говорить о чести и благородной порядочности, то в натуре Орио нельзя усмотреть ни одной черты, не оправдывающей высокого мнения, которое сложилось о нем у Джованны.

— Я тоже так думаю, ваше превосходительство, — ответил Эдзелино. — Хотя вся Венеция порицает безумства мессера Орио Соранцо, хотя большинству людей он внушает некоторое нерасположение, мне действительно не известен ни один низкий или дурной поступок, из-за которого он заслуживал бы этой антипатии. Поэтому я считал себя обязанным молчать, когда убедился, что ваша племянница предпочла его. А пытаться восстановить доброе отношение к себе, очернив другого человека, — это не в моих

правилах. Однако при всем моем отвращении к подобному поведению я бы решился на это, если бы считал мессера Соранцо совершенно недостойным породниться с вами. Из любви и уважения к вам я счел бы себя обязанным пойти на откровенность. Но воинские подвиги мессера Орио во время последней кампании доказывают, что, растратив попусту свое благосостояние, он оказался способным восстановить его самым славным образом. Не требуйте от меня дружеских чувств к нему, не просите, чтобы я протянул ему руку, — я был бы вынужден ослушаться. Но не опасайтесь, что я стану поносить его или бросать какой-либо вызов. Я чту его доблесть, и он ваш племянник.

— Ни слова больше, — произнес адмирал, еще раз поцеловав благородного Эдзелино, — вы самый достойный дворянин во всей Италии, и мне всегда будет горестно, что я не смог назвать вас своим сыном. О, если бы у меня был сын! Если бы у него были ваши качества! Я бы просил у вас для него руки этой прелестной, славной девочки; ведь я люблю ее почти так же сильно, как мою Джованну. — И с этими словами он взял под руку Арджирию и повел ее в парадный зал, где многочисленная толпа гостей уже занялась принятыми в те времена играми и развлечениями.

Эдзелино побыл некоторое время в зале. Но, несмотря на все свои благородные усилия, он невыносимо терзался горем и ревностью. Сжатые губы, угрюмый, неподвижный взгляд, неестественная походка, словно тело его свела судорога, наигранная веселость — все выдавало снедавшую его плубочайшую муку. Он уже не в силах был владеть собой. Видя, что сестра забыла о своем негодовании, перестала следить за ним тревожным взглядом и поддалась дружеской предупредительности Джованны, он вышел в первую же попавшуюся дверь и спустился вниз по довольно узкой витой лестнице, ведущей на одну из галерей нижнего этажа. Шел он без всякой цели, весь охваченный безотчетной потребностью в одиночестве и тишине, и внезапно увидел, что навстречу ему, не замечая его, легким шагом поднимается по лестнице некий дворянин. В тот миг, когда этот дворянин поднял голову, Эдзелино узнал Орио, и вся ненависть его пробудилась, словно от удара электрическим током: поблекшее лицо вспыхнуло, губы дрогнули, глаза стали метать пламя, а рука,

повинуясь невольному побуждению, наполовину вытянула из ножен кинжал.

Орио был очень храбр, дерзновенно храбр и многократно доказывал это, а впоследствии доказал, что храбрость его может дойти до безумия. И все же в этот миг он испугался. Есть лишь одна подлинная и непоколебимая храбрость — та, что свойственна сердцам подлинно великим и непоколебимо благородным. Человек, любящий жизнь с упорством существа, жадного до ее материальных благ и радостей, приверженный к этим ложным ценностям, сможет бестрепетно заглянуть в глаза смерти ради того, чтобы умножить свои наслаждения или завоевать славу, ибо утоление тщеславия стоит у себялюбцев на одном из первых мест. Но попробуйте застичь такого человека на вершинах благополучия, попробуйте, не соблазняя его приманкой богатства и славы, призвать его к тому, чтобы он возместил нанесенное кому-либо зло, — тогда он легко может оказаться трусом, и вся его добрая слава не обрядит его настолько, чтобы этого не заметили.

Орио был безоружен, и противник его занимал более выгодную позицию. К тому же он подумал, что Эдзелино оказался здесь преднамеренно и что, может быть, за ним под какой-нибудь аркой скрываются сообщники. С минуту он поколебался, а затем вдруг, побежденный страхом смерти, быстро повернулся и сбежал вниз по лестнице с легкостью молодого оленя. Пораженный Эдзелино застыл на месте. «Орио струсил! — торжествуя, подумал он. — Орио, забияка, дерзкий дуэлянт, Орио, герой минувшей войны, бежит при виде меня!»

Он медленно сошел вниз до последней ступеньки, загадывая мысленно, вернется ли Орио с оружием в руках, и уже в глубине души не желая этого, ибо рассудок в нем одержал верх и он ощутил все безумие и неблагоприятность мстительного порыва. Очувшись на нижней галерее, он увидел, что Орио стоит окруженный слугами и делает вид, будто отдает им какие-то распоряжения, словно он внезапно вспомнил о каком-то своем упущении и вернулся вниз, чтобы поправить дело. Он так быстро овладел собой, казался таким спокойным и беспечным, что Эдзелино на миг даже усомнился: может быть, Орио и впрямь занят был только своими мыслями и даже не заметил его на лестнице? Однако это было маловероятно. Тем не

менее Эдзелино некоторое время прохаживался взад и вперед в конце галереи, не спуская с Орио глаз, пока тот не вышел со своими слугами в противоположную дверь.

Не помышляя более о мести и даже раскаиваясь в том, что у него возникла такая мысль, но желая все же любой ценой проверить свои подозрения, Эдзелино вернулся в зал, где продолжалось празднество, и вскоре увидел соперника, тоже возвратившегося туда, в обществе нескольких гостей. Теперь у пояса его висел кинжал, и Эдзелино сразу же стало ясно, что Орио заметил его движение на лестнице. «Так, — подумал он, — значит, Орио решил, что я намеревался убить его? У него не нашлось ни достаточно уважения ко мне, ни достаточно спокойствия и присутствия духа, чтобы показать мне, в каких неравных условиях мы находимся? Им, значит, овладел страх, такой внезапный и слепой, что у него не хватило даже времени заметить, как я всунул кинжал обратно в ножны, видя его безоружным. В сердце этого человека нет благородства, и я не удивлюсь, если окажется, что какой-нибудь оставшийся в тайне низкий поступок или даже нераскрытое преступление уже приглушили в нем задатки чести и мужества».

С этой минуты оставаться на празднестве стало для Эдзелино еще невыносимее. К тому же он заметил, что, разговаривая с Джованной, сестра его дала Орио возможность подойти к ней и что она отвечает на его праздные и легкомысленные вопросы с застенчивостью, в которой становится все меньше и меньше высокомерия. Орио же, действительно думая, что у соперника его имеются мстительные замыслы, хотел выяснить, не знает ли об этом Арджирия. Он рассчитывал, что девушка в простосердечии своем невольно выдаст секрет, и внимательно наблюдал за ее поведением, донимая наловатыми любезностями и не спуская с нее хищного соколиного взгляда, якобы дававшего ему некую магическую власть над всеми женщинами. Арджирия, редко бывавшая в обществе, совсем еще юная и чистая, не могла понять волнения, которое вызывал в ней этот взгляд. У нее как-то странно кружилась голова, а когда Соранцо устремлял затем горящие страстью глаза на Джованну и обращался к ней со словами, полными пылкой нежности, сердце Арджирии вдруг начинало колотиться, а щеки горели, как будто эти взоры и эти слова относились не к Джованне, а к ней самой.

Эдзелино не заметил ее душевного смятения. Но бал вот-вот должен был начаться, — он боялся, чтобы Орио не пригласил его сестру на танец, ибо для него непереносима была даже мысль, что она может непринужденно беседовать и спокойно принимать любезности человека, которого он уже не столько ненавидел, сколько начал презирать. Он подошел к Арджирии, взял ее за руку и, подведя к тетке, стал умолять обеих покинуть празднество. Арджирия явилась сюда нехотя, но когда брат заставил ее уйти, она ощутила какую-то боль — словно в ней что-то надломилось, словно некое сожаление уязвило ее в самое сердце. Она дала увести себя, не в силах вымолвить ни слова, а добрая тетушка, питавшая беспредельное доверие к мудрости и благородству Эдзелино, последовала за ним, ни о чем даже не спросив.

Свадебные празднества, отличавшиеся необыкновенной пышностью, продолжались несколько дней. Но граф Эдзелино здесь больше не появлялся: в тот же вечер он уехал в Падую, забрав с собой тетку и сестру.

Конечно, стать супругом одной из самых богатых наследниц республики и племянником главнокомандующего — это было очень много для человека, еще накануне почти что совсем разоренного, и вполне достаточно для обычного честолюбца. Но Орио всего было мало, его ничто не могло насытить. Для его безумного мотовства требовалось королевское состояние. Он был одновременно и ненасытен и корыстолюбив: все средства были для него хороши, чтобы раздобыть деньги, и все наслаждения пригодны, чтобы их растратить. Но особенно владела им страсть к игре. Привыкнув к любым опасностям и к любым удовольствиям, он лишь в игре обретал достаточно острые переживания. И потому играл он так, что это казалось страшным даже в этой стране и в тот век безумных игроков, ставя нередко на один бросок игральных костей все свое состояние, выигрывая и проигрывая раз двадцать за ночь доход пятидесяти семей. Вскоре в приданом его жены обнаружили изрядные прорехи, и он осознал, что надо либо переменить образ жизни, либо возместить потери, если он не хотел оказаться в том же положении, что и перед женитьбой. Вновь наступила весна, и началась подготовка к возобновлению военных действий. Орио заявил Морозини, что желает сохранить предоставленную ему республикой должность под

начальством адмирала, и, проявив воинский пыл, снова завоевал расположение командующего, которое начал было утрачивать из-за своего неблагоприятного поведения. Когда настало время поднимать паруса, он со своей галерой оказался на месте и вышел в море в составе всего флота в начале 1686 года.

Самым блистательным образом участвовал он во всех главных сражениях этой памятной кампании, особенно отличившись при осаде Корона и в битве на равнинах Лаконии, где венецианцы одержали победу над капитан-пашой Мустафой. С наступлением зимы Морозини обеспечил защиту завоеванных областей и увел флот зимовать на Корфу, откуда можно было наблюдать за положением как на Адриатике, так и на Ионическом море. И действительно, в пору зимних непогод турки не проявили никакой серьезной активности. Но зато жители песчаных отмелей Лепантского залива, в минувшем году приведенные к покорности генералом Штразольдом, воспользовались моментом, когда сила ветра и беспрестанное волнение на море не давали крупным венецианским судам выйти из гавани. Благодаря своим малым размерам и легкости их баркасы свободно избегали столкновений с большими кораблями, которые они могли встретить, и прятались, словно морские птицы, за любой скалой. Почти не стесняясь, занимались они морским разбоем, нападали на все торговые суда, вынужденные по делам своих владельцев отправляться в трудные зимние рейсы, даже иногда на вооруженные галеры, большей частью захватывали их, расхищали грузы и истребляли экипажи. Особенно свирепствовали миссолунгцы, укрывавшиеся на островах Курцолари, между Мореей, Этолией и Кефалонией. Для того чтобы положить этому конец, главнокомандующий послал на острова, особенно кишашие пиратами, гарнизоны отборных моряков на хорошо вооруженных галерах, поручив командование ими самым умелым и решительным офицерам. Он не забыл и Соранцо, ибо тот, скучая в бездействующей армии, одним из первых попросился на борьбу с пиратами. Ему поручили пост, достойный его дарований и мужества, послав во главе трехсот человек на самый большой из островов Курцолари и поручив обеспечить безопасность на важных морских путях вблизи от него. Появление Соранцо привело в ужас миссолунгцев, знавших его непобедимую храбрость и беспощадную суровость. И действительно, в первое время там, где он командовал,

совершенно прекратился морской разбой, между тем как в местах, подчиненных другим командирам, несмотря на активные действия гарнизонов, все время происходили частые и жестокие нападения пиратов на мирные суда. По представлению его дяди, который был в полном восторге от этих успехов, правительство республики не раз посылало Соранцо благодарственные грамоты.

Однако же Орио, обманутый в своих расчетах найти неприятеля, которого можно было громить и грабить, задумал одним мощным ударом поправить то, что он считал несправедливостью судьбы к своей особе. Ему стало известно, что паша Патраса хранит в своем дворце бесчисленные сокровища и что, положившись на хорошо укрепленные городские стены и на многочисленность жителей, он смотрит сквозь пальцы на то, что солдаты его довольно плохо охраняют город. Учтя все эти обстоятельства, Орио выбрал из своего отряда сотню самых храбрых солдат, погрузил их на галеру, велел держать курс на Патрас, с тем чтобы попасть туда только к ночи, и, укрыв свой корабль и людей в окруженной скалами бухточке, первым сошел на берег и, переодетый, направился к городу. Вы знаете конец этого приключения, так поэтически рассказанного Байроном. В полночь Орио подал своему отряду условный сигнал к выступлению и встретил его у городских ворот. Там он прикончил часовых, бесшумно прошел через спящий город, врасплох захватил дворец и принялся за грабеж. Но на Орио напал отряд, в двадцать раз превосходящий численностью его банду, их оттеснили в один из внутренних дворов и взяли в кольцо. Он защищался, как лев, и отдал свою шпагу лишь тогда, когда последний из его людей уже давно пал. Паша, несмотря на свою победу, пришел в ужас от дерзости врага; он велел заковать его в цепи и запереть в самом глубоком каземате своего дворца, чтобы насладиться муками и, может быть, трепетом того, из-за кого он сам трепетал. Но любимая невольница паша, по имени Наам, видела из своего окна ночную битву. Соблазненная красотой и храбростью пленника, она тайком явилась к нему и обещала ему свободу, если он согласится разделить ее любовь. Невольница была хороша собой, Орио — не слишком щепетилен в любовных делах и вдобавок полон жажды жизни и свободы. Сделка была заключена, и в скором времени их замысел осуществился. На третью ночь Наам заколола своего господина и, воспользовавшись смятением, вызванным этим

убийством, бежала вместе с любовником. Они сели в лодку, о которой невольница заранее позаботилась, и добрались до островов Курцолари.

Двое суток граф оставался погруженным в глубочайшее уныние. Потеря галеры была для него существенным материальным ущербом, а то, что он без толку погубил сотню отборных солдат, могло нанести значительный ущерб его военной репутации, а значит, помешать повышению в должности, которое он рассчитывал получить от венецианского правительства. Ибо для него все на свете сводилось к выгоде, и высокого положения он добивался лишь потому, что, занимая его, легче было обогатиться. Вскоре он стал думать только о плачевных последствиях своего безрассудного приключения и о способах, которыми можно было теперь помочь делу.

И вот вскоре всем бросилось в глаза, что он совершенно переменял свой образ жизни, и даже характер его, по-видимому, изменился так же, как поведение. Прежде он с легкостью пускался на любое дерзкое предприятие, теперь стал осмотрительным и даже склонным к подозрительности; по его словам, этого после гибели его главной галеры требовал от него долг. Он имел в своем распоряжении всего одну галеру и не мог рисковать ею в дальних походах. Поэтому она занималась лишь наблюдением за морскими путями недалеко от небольшой скалистой бухты, служившей ей гаванью, и ограничивалась только плаванием вокруг острова, не теряя его из вида. Да и командовал ею уже не сам Орио. Это дело он поручил своему помощнику, а сам появлялся на судне лишь время от времени для производства смотров. Он не покидал замка, где сидел, запершись, погруженный, казалось, в полное отчаяние. Солдаты громко роптали, и он словно бы не обращал на это внимания, а потом вдруг выходил из своей апатии и подвергал недовольных суровым карам. Эти возвраты к заботе о порядке и дисциплине отмечались жестокостями, которые восстанавливали покорность начальнику и довольно долго держали команду в страхе.

Такой способ действий принес свои плоды. Пираты, приободренные и поражением Соранцо в Патрасе и несмелым патрулированием его галеры вокруг островов Курцолари, вновь появились в Лепантском заливе, продвинулись к самому проливу, и вскоре весь этот район стал для мирных судов еще опаснее, чем когда-

либо. Почти все проходившие там торговые корабли исчезали неведомо куда, так что о них потом никто ничего не слышал, а немногие, достигавшие места назначения, утверждали, что им это удалось лишь благодаря быстроходности и попутному ветру.

Между тем граф Эдзелино также покинул Италию не повидавшись с Джованной и не посетив дворца Морозини. Через несколько дней после свадьбы Соранцо он получил от правительства назначение и распрощался с сестрой и теткой. Отправился он в Морею, надеясь, что военные события и дурман воинской славы заглушат его любовные муки и залечат раны, нанесенные его самолюбием. В этой компании он отличался не меньше, чем Соранцо, но не смог обрести забвение и опьянение, которых искал. Печаль не оставляла его, он избегал общества людей более счастливых и к тому же чувствовал известное стеснение оттого, что состоял при Морозини, и поэтому в конце концов добился, чтобы тот поручил ему на зиму пост командующего в Короне. Однако вышло так, что Морозини, узнав об усилении пиратских налетов, решил назначить Эдзелино на командную должность поближе к местам их разбоя и в конце февраля призвал его к себе. Эдзелино покинул Мессению и направился в Корфу во главе немногочисленного, но доблестного экипажа. Плавание проходило вполне благополучно, пока они не поравнялись с Занте. Но тут подул западный ветер, заставивший их удалиться из открытого моря и войти в пролив, отделяющий Кефалонию от северо-западной оконечности Мореи. Всю ночь им пришлось бороться со штормом, а на следующий день за несколько часов до захода солнца они поравнялись с островами Курцолари и как раз должны были миновать последний из трех главных. Эдзелино с несколькими матросами держал вахту и плыл, пользуясь попутным ветром, остальные же, устав после тяжелого ночного плавания, отдыхали, лежа на палубе. Внезапно из-за скалистого мыса, образующего северо-западную оконечность этого острова, навстречу им устремилось суденышко с многочисленной командой. Эдзелино сразу же увидел, что придется иметь дело с миссолунгскими пиратами. Однако он сделал вид, что не узнает их, и спокойно велел своим людям приготовиться к схватке, но так, чтобы не показываться пиратам, и продолжал путь, словно не заметил опасности. Пираты, поставив все паруса на весла, приблизились к галере и под конец

забросили на нее абордажные крючья. Когда Эдзелино увидел, что оба корабля тесно соприкоснулись и миссолунгцы уже собираются перебросить к ним мостки для нападения, он дал своему экипажу сигнал, и все поднялись как один. При виде этого пираты заколебались, но одно слово их вождя снова пробудило первоначальную смелость, и они всей массой бросились на неприятельскую палубу. Битва была жестокая, и сперва ни та, ни другая сторона не могла одержать верх. Эдзелино, все время руководивший своими матросами и подбадривавший их, заметил, что вражеский командир, напротив, безмятежно спит на корме своего судна, не принимая никакого участия в схватке, словно все происходящее — только зрелище, для него совершенно постороннее. Удивленный этим спокойствием, Эдзелино стал внимательно вглядываться в этого странного человека. Он был одет так же, как другие миссолунгцы, на голове его красовался большой красный тюрбан. Густая черная борода скрывала половину лица, придавая его чертам еще более энергичное выражение. Любуясь его красотой и невозмутимостью, Эдзелино смутно вспоминал, что где-то он его уже видел, наверное в каком-нибудь сражении. Но где? Этого-то он и не в состоянии был восстановить в памяти. Впрочем, мысли эти лишь промелькнули в его мозгу, и все внимание его снова обратилось к битве. Дело, казалось, принимало неприятный для него оборот. Его люди сражались очень храбро, но вот они стали ослабевать и мало-помалу отступать под натиском своих оголтелых противников. Видя это, молодой граф рассудил, что наступила пора ему самому броситься в бой, чтобы личным примером поднять дух дрогнувших людей. Из командира он превратился в простого солдата и, подняв саблю, бросился в самую гущу схватки с криком: «Святой Марк! Святой Марк! Вперед!». Собственноручно убил он трех пиратов, которые находились в самом первом ряду; его люди, приободрившись, последовали за ним, и им удалось, в свою очередь, отеснить нападающих. Тогда вождь пиратов сделал то же, что Эдзелино. Видя, что его команда отступает, он вскочил на ноги, схватил абордажный топор и с диким криком бросился на венецианцев. Те в нерешительности задержались, один Эдзелино осмелился пойти прямо на него. Оба начальника встретились на одном из мостков, соединявших корабли. Эдзелино изо всех сил попытался нанести удар

миссолунгцу, который шел на него, ничем не защищенный, но пират отвратил удар рукоятью топора, а лезвие уже занес над головой графа, когда Эдзелино, державший в другой руке пистолет, прострелил ему правую руку. Пират на миг остановился, яростно взглянул на свой упавший топор, с каким-то вызовом поднял окровавленную руку и отступил к своим людям. Те, видя, что вождь их ранен, а неприятель по-прежнему готов к мужественной встрече, быстро убрали abordажные мостки, перерезали канаты крючьев и удалились почти так же быстро, как и появились. Не прошло и четверти часа, как они уже исчезли за скалами, из-за которых вышли.

Экипаж Эдзелино понес большие потери, и потому командир, решив, что честь его спасена доблестной обороной галеры, не счел нужным принимать к ночи новый бой и удалился со своим судном под защиту укрепленного замка на главном острове. Когда они бросили якорь, наступила уже темнота. Он отдал необходимые распоряжения и, прыгнув в шлюпку, подплыл к замку.

Замок этот стоял на самом берегу на высоких, обрывистых скалах, где с грохотом разбивались волны прибоя. Он возвышался над островом, и с него просматривался весь горизонт, вплоть до двух других островов. С суши его окружал ров глубиной в сорок футов и замыкала со всех сторон высоченная стена. По четырем углам замка, словно стрелы, вонзались в небо остроконечные башни. Единственный, по всей видимости, выход из замка закрывали тяжелые железные ворота. Все это было массивным, черным, угрюмым и зловещим, издали похотим на гнездо какой-то хищной птицы.

Эдзелино не знал, что Саранцо спасся после патрасской бойни. Ему было известно лишь о безумной затее Орио, его поражении и потере галеры. Прошел слух о его гибели, а затем о побеге; но там, где находился Эдзелино, на крайнем пункте морейского побережья, никто не мог сказать, сколько было правды или лжи во всех этих рассказах. Из-за разбоя миссолунгских пиратов весть о смерти Соранцо казалась гораздо более вероятной, чем весть о его спасении.

Граф поэтому оставил Корон с неясным чувством радости и надежды, но во время путешествия им вновь овладели обычные мысли — печальные и гнетущие. Он говорил себе, что если даже Джованна теперь свободна, один вид прежнего жениха покажется ей оскорблением ее горю и, может быть, в ее чувствах к нему уважение

сменится ненавистью. Кроме того, заглядывая в свое собственное сердце, Эдзелино воображал, что на дне этой пучины страдания нет уже ничего, кроме своего рода жалости к Джованне, супруга ли она Орио Соранцо или его вдова.

И только теперь, когда Эдзелино ступил ногой на побережье острова Курцолари и к нему вернулась привычная меланхолия, на миг развеявшаяся в пылу битвы, он вспомнил о своей личной задаче, которую ему предстояло разрешить и из-за которой он последние два месяца словно как бы и не жил по-настоящему. И, несмотря на то, что он — так ему казалось — был вооружен теперь равнодушием, сердце его дрогнуло от волнения, гораздо более острого, чем испытанное при виде пиратов. Одно слово из уст первого же матроса, которого он увидел на берегу, могло покончить с мучившей его неизвестностью, но чем сильнее она его мучила, тем меньше оставалось у него мужества для того, чтобы навести справки.

Комендант замка узнал венецианский флаг и, ответив на салют галеры равным числом пушечных выстрелов, вышел навстречу Эдзелино и объявил, что в отсутствие губернатора на нем, коменданте, лежит обязанность предоставлять убежище и защиту кораблям республики. Эдзелино хотелось спросить, является ли отсутствие губернатора временным или же слова коменданта означают, что Орио Соранцо нет в живых. Но он не мог заставить себя задать этот вопрос, словно его собственная жизнь зависела от ответа. Комендант же, рассыпавшийся в любезностях, был несколько удивлен сдержанностью и смущением, с которыми молодой граф принимал их, и в смущении этом усмотрел холодность и высокомерие. Он провел Эдзелино в просторный зал сарацинской архитектуры, радушно предложил ему отдохнуть и откусать и понемногу обрел свою обычную приниженно-почтительную повадку. Человек этот, по имени Леонцио, родом словенец, был наемником и успел поседеть на службе у Венецианской республики. Привыкнув скучать на своих второстепенных должностях, он отличался характером беспокойным, любопытным и склонным к болтливости. Эдзелино принужден был выслушать обычные ламентации офицера, командующего укрепленным пунктом и обреченного на унылую и опасную зимовку. Он почти не слушал его и, только услышав некое имя, встрепенулся.

— Соранцо?! — вскричал он, не в силах будучи сдерживаться. — Кто этот Соранцо, и где он сейчас находится?

— Мессер Орио Соранцо — губернатор этого острова, о нем я и имею честь говорить с вашей милостью, — ответил Леонцио. — Не может быть, чтобы вы не изволили слышать о столь доблестном капитане.

Эдзелино молча сел на свое место, а затем через минуту спросил, почему же губернатор местности, столь важной в военном отношении, не находится на своем посту, особенно же в такое время, когда пираты хозяйничают на море и нападают на галеры республики чуть Ли не под самыми пушками его укреплений. На этот раз он внимательно вслушался в ответ коменданта.

— Ваша милость, — сказал тот, — изволили задать мне вполне естественный, который задаем и мы все, начиная от меня, коменданта крепости, и кончая последним солдатом гарнизона. Ах, синьор граф, до чего же могут впасть в уныние из-за неудачи даже самые храбрые воины! После патрасского дела благородный Орио утратил всю свою мощь и дерзновенность. Мы просто изнываем здесь от безделья, а ведь было время, когда он корил нас за лень и медлительность. Господь свидетель, мы этих упреков не заслуживали. Но хоть они и были несправедливы, мы предпочитали бы видеть его таким, чем в унынии, в которое он впал. Ваша милость, можете мне поверить, — добавил Леонцио, понизив голос, — это человек, потерявший голову. Если бы два месяца назад ему хотя бы рассказали о вещах, которые теперь происходят у него на глазах, он бы ринулся, как морской орел, в погоню за этими чайками. Он не знал бы ни сна, ни отдыха, он бы куска в рот не взял, пока не истребил бы этих пиратов и не убил бы своей рукой их вожака! Но увь! Они кидают нам вызов под нашими же укреплениями, и красный тюрбан ускока нагло маячит у нас перед глазами. Нет сомнения, именно этот гнусный пират и напал сегодня на вашу светлость.

— Возможно, — равнодушным тоном ответил Эдзелино. — Одно несомненно: несмотря на свою неслыханную дерзость, эти пираты не могут совладать с хорошо вооруженной галерой. На моем судне только шестьдесят вооруженных людей, и однако мы, я думаю, справились бы со всеми объединенными силами миссолунгцев. Конечно, не считая даже этой мощной галеры, что стоит там на якоре,

у вас здесь больше людей и припасов, чем нужно для того, чтобы в несколько дней уничтожить всю эту мерзкую нечисть. Что подумает Морозини о поведении своего племянника, когда узнает, что здесь творится?

— А кто осмелится сообщить ему об этом? — произнес Леонцио с улыбкой, к которой примешивались и желчность и страх. — Мессер Орио беспощадно мстит за обиды, и если бы хоть малейшая жалоба на него дошла до слуха адмирала из этого проклятого места, даже последний здешний юнга не избавился бы до самой смерти от последствий гнева Соранцо. Увы! Смерть — пустяк, случайность войны. Но стареть под ярмом, без славы, без выгоды, без продвижения — что может быть хуже в солдатской жизни? Кто скажет, как принял бы прославленный Морозини жалобу на своего племянника? Я-то уж наверное не встану на чашу весов, если на другой чаше такой человек, как Орио Соранцо!

— А из-за этих опасений, — с негодованием возразил Эдзелино, — торговле вашего отечества чинятся препятствия, добрые купцы разорены, целые семьи с женщинами и детьми неотомщенные погибают в путешествиях жестокой смертью. Низкие бандиты, отбросы всех наций, издеваются над венецианским флагом, а мессер Орио Соранцо все это терпит! Вокруг него столько храбрых солдат, которые локти себе кусают от нетерпения, и среди них не найдется ни одного, который осмелился бы пойти на риск ради спасения своих сограждан и чести родины!

— Видно, придется уж все сказать, синьор граф, — ответил Леонцио, испуганный гневной вспышкой Эдзелино. Но тут же осекся и опяделся по сторонам, словно опасаясь, нет ли у стен глаз и ушей.

— Ну что ж, — горячо продолжал граф, — что вы можете сказать в оправдание своей робости? Говорите, или я сочту вас ответственным за все это.

— Синьор граф, — ответил Леонцио, продолжая пугливо озираться по сторонам, — благородный Орио Соранцо, может быть, больше несчастен, чем виновен. Говорят, в его личных покоях под покровом тайны происходят странные вещи. Слышали, как он громко и запальчиво говорил сам с собой. Как-то ночью его встретили — он блуждал в темноте, как одержимый, бледный, изможденный, в какой-то странной одежде. Неделями сидит он, запершись в своей комнате и

не допуская к себе никого, кроме одного мусульманского раба, вывезенного им из этой злосчастной экспедиции в Патрас. Порой, особенно в бурную погоду, он с этим юношей и еще лишь с двумя-тремя моряками решается выйти в море в утлой лодчонке и, развернув парус, с бесстрашием, похожим на безумие, исчезает на горизонте среди отмелей, окружающих нас со всех сторон. Он отсутствует по нескольку дней, и повинна в этих бессмысленных и опасных прогулках только его больная фантазия — иного объяснения не придумать. Но согласитесь, ваша милость, что во всем этом он проявляет немалую энергию.

— Тогда речь может идти только о самом очевидном безумии, — заметил Эдзелино. — Если мессер Орио потерял рассудок, его надо поместить в больницу и лечить. Но нельзя же поручать умалишенному командный пост, от которого зависит безопасность морских путей. Это крайне важно, и сегодня по воле случая на меня оказался возложенным долг, который я сумею выполнить, хотя один бог знает, насколько он мне тягостен... Послушайте! Губернатор действительно отсутствует, или он в такой час просто спит в своей постели? Я хочу сам расспросить его, я хочу все увидеть собственными глазами, хочу узнать, что с ним такое — больной он, безумец или предатель.

— Синьор граф, — сказал Леонцио, словно скрывая какое-то свое личное беспокойство. — По этой вашей решимости узнаю в вас верного сына республики. Но я даже не имею возможности сказать вам, заперся ли губернатор у себя в покоях или же выехал на прогулку.

— Как?! — вскричал Эдзелино, пожимая плечами. — Никто здесь даже не знает, где его искать по делу?

— Это святая правда, — сказал Леонцио, — и милости вашей должно быть понятно, что все здесь стараются иметь как можно меньше дела с губернатором. В том состоянии, в каком он пребывает, самое лучшее, чтобы он не отдавал никаких распоряжений. Когда он выходит из своего угнетенного состояния, то оно сменяется у него какой-то суматошной деятельностью, которая могла бы оказаться губительной для всех нас, если бы его помощник по командованию галерой не умел осторожно и ловко обходить его приказания. Но даже всей его ловкости хватает лишь на то, чтобы несколько оберегать нас

от безрассудных распоряжений, которые мессер Орио отдает ему с высоты крепостной башни.

Ваша милость изволили бы жалостливо усмехнуться, увидев, как наш губернатор, вооружившись разноцветными флагами, пытается с такого расстояния сообщить на корабль о своих странных намерениях. К счастью, когда мы притворяемся, что ничего не поняли, а он приходит в состояние ужасающей ярости, у него совершенно отшибает память. К тому же его помощник Марко Медзани — человек мужественный, который скорее не побоится навлечь на себя его гнев, чем посадить галеру на отмели, куда мессер Орио часто велит ему вести ее. Я убежден, что он горит желанием поохотиться на пиратов и что как-нибудь он это и сделает, не заботясь о том, что подумает мессер Орио о его послушании.

— «Как-нибудь»!.. «Что подумает»!.. — вскричал Эдзелино, все более и более возмущаясь всем услышанным. — Вот уж действительно великое мужество и старания! Но какую пользу приносили они до самого последнего времени? Нет, господин комендант, я просто представить себе не могу, как это люди переносят тиранию безумца и как это им не пришло в голову, вместо того чтобы обходить нелепые приказы, связать его по рукам и ногам, бросить в лодку на матрас и отвезти в Корфу, чтобы дядюшка его, адмирал, лечил племянника, как уж найдет нужным. Вот что — довольно всех этих ненужных подробностей! Окажите мне такую любезность, мессер Леонцио, подите попросите Соранцо принять меня, а если он откажется, покажите мне дорогу в его покои. Ибо, клянусь вам, я не уйду отсюда, пока не пощупаю пульс его чести или его бреда.

Леонцио все еще колебался.

— Ступайте, сударь, — с силой сказал ему Эдзелино. — Чего вы страшитесь? У меня здесь имеется галера, если ваша не находится в должном боевом состоянии. И если ваши триста человек боятся одного больного, то хватит и моих шестидесяти, которые не боятся ничего. Я принимаю на себя всю ответственность за свое решение и обещаю вам, если понадобится, защиту от вашего начальника. Никогда бы не подумал, что такому старому вояке, как вы, потребуется для выполнения его прямого долга покровительство юнца, вроде меня.

Оставшись один, Эдзелино принялся расхаживать взад и вперед по залу. Солнце уже село, наступали сумерки. Жаркий багрянец вечернего неба понемногу затухал в волнах Ионического моря. Просторный морской ландшафт, развертывающийся вокруг острова, обрамляло извилистое побережье Кварнерского залива. Граф остановился у узкого окна, образующего двойной стрельчатый свод с каменной резьбой и господствующего на высоте более чем в сто футов над этой великолепной панорамой. Гладкие стены крепости упирались в обрывистую скалу, о которую беспрестанно бился прибой, и казалось, что весь замок уходит корнями глубоко в бездну и в то же время силится рвануться к облакам. Одинокий на этой отмели, он имел вид и дерзновенный и одновременно какой-то жалкий. Восхищаясь его живописным расположением, Эдзелино ощущал все же нечто вроде головокружения, и ему пришло на ум, что, пожалуй, длительное пребывание в такой местности действительно может привести в бредовое состояние впечатлительную душу, какой, наверное, обладал Соранцо. Он подумал, что бездействие, болезнь и огорчения в таком месте — это пытка хуже смерти, и возмущение, дотоле переполнявшее его, сменилось чем-то вроде жалости.

Однако он воспротивился этому порыву великодушия и, понимая всю важность принятого им на себя долга, оторвался от своего созерцания и снова принялся быстро ходить взад и вперед по обширному залу.

Гнетущая тишина, дышащая и отчаянием, царила в этой обители воинов, где лязг оружия и возгласы часовых должны были бы беспрестанно примешиваться к голосу ветров и волн. Но слышны были только крики морских птиц, бесчисленными стаями опускавшихся к ночи на прибрежные скалы, о которые разбивались волны с величавым грохотом, отдававшимся в пространстве каким-то протяжным, монотонным воплем.

Место это было некогда свидетелем славного кровопролитного сражения. Вблизи отмелей Курцолари (древних Эхинад) героический побочный отпрыск Карла Пятого, дон Хуан Австрийский, дал первый сигнал к великой битве при Лепанто и уничтожил соединенные морские силы Турции, Египта и Алжира. К этому времени относилась и постройка замка. Он назывался Сан-Сильвио, может быть, потому, что воздвиг его и занимал граф Сильвио де Порчья, один из

победителей в этой битве. Эдзелино видел, как в последних отсветах заката на стенах словно слегка движутся крупные силуэты героев Лепанто в мощных боевых доспехах, изображенные в колоссальных масштабах на довольно грубо намалеванных фресках. Там был генералиссимус Веньеро, который в свои семьдесят шесть лет совершал чудеса храбрости, провектор Барбаринго, маркиз де Санта-Крус, доблестные капитаны Лоредано и Малиньеро, павшие в этом кровавом бою, наконец, знаменитый Брагадино, с которого за несколько месяцев до Лепантского сражения живьем содрали кожу по приказу Мустафы и который был изображен здесь в устрашающем виде кровавой жертвы — вокруг головы ореол мученика, тело уже наполовину без кожи. Возможно, фрески эти писал какой-нибудь солдат-художник, раненный при Лепанто. От морского воздуха они частично уже осыпались, но все оставшееся имело весьма выразительный вид, и эти героические призраки, поврежденные временем и словно витающие в сумеречном воздухе, наполнили душу Эдзелино благоговейным ужасом и патриотическим воодушевлением.

Каково же было его удивление, когда от своих сумрачных мечтаний он был пробужден звуками лютни! Звучкам этим вторил женский голос, нежный и мелодичный, хотя и слегка дрожащий — видимо, от какого-нибудь горя или душевной боли. Эдзелино отчетливо расслышал слова хорошо известного ему венецианского романса:

Венера — меж богинь царица, Венеция — царица вод.

Звезда любви, морей столица — Владычицы земных красот.

Вас, дивных, с нежностью смиренной Качает колыбель волны; Вы — сестры, вы кипящей пеной Морской лазури рождены.

Эдзелино ни на мгновение не усомнился, что это за романс и чей голос он слышит.

— Джованна! — вскричал он, устремляясь в противоположный конец зала и дрожащей рукой приподнимая тяжелый край завесы, скрывавшей самое дальнее окно.

Окно это выходило во внутренние дворы замка, в одну из тех его частей, которые окружены жилыми строениями и в зданиях нашего французского средневековья назывались лужайками. Эдзелино увидел дворик, резко несхожий со всем остальным, что было на острове и в замке. Это было местечко для отдыха, построенное недавно в

восточном стиле и словно специально для того, чтобы здесь можно было найти убежище от утомительного вида бушующих волн и резкости морского ветра. Довольно обширная четырехугольная площадка была засыпана толстым слоем плодородной земли, и на ней цвели красивейшие цветы Греции, которым здесь не угрожала непогода. Этот искусственный сад был невыразимо поэтичен. Растения, которых насильно заставили прижиться в этом месте, источали некую томность, дышали странным ароматом, словно они поняли, какое сладострастие, смешанное со страданием, таит в себе добровольный плен. О них, видимо, старательно и нежно заботились. Источник, бивший из скалы и превращенный в фонтан, бормотал и звенел в бассейне паросского мрамора. Над этим цветником возвышалась галерея из кедрового дерева с несложной, но изящной и легкой резьбой в мавританском стиле. За этой галереей, над ее аркадами и под ними, виднелись сводчатые двери личных покоев губернатора и их круглые окна с резным переплетом. Портьеры из восточных тканей и занавески ярко-красного шелка скрывали от графа внутренность этих покоев. Но едва он взволнованным, проникновенным голосом повторил имя Джованны, как одна из этих завес быстро приподнялась. На балконе вырисовалась чья-то изящная светлая тень, помахала вуалью, словно подавая знак, что говорившего узнали, и, опустив завесу, в то же мгновение исчезла. Графу пришлось отойти от окна, так как появился Леонцио, чтобы дать отчет в порученном ему деле. Но Эдзелино узнал Джованну и теперь еле слушал ответ старого коменданта.

Леонцио принес известие, что губернатор действительно выехал на морскую прогулку вокруг острова. Но то ли он сошел на берег где-нибудь среди скал Кварнерского залива, то ли плавает среди многочисленных островков, окружающих главный остров Курцолари, — его лодку нигде невозможно было обнаружить в подзорную трубу.

— Очень странно, — заметил Эдзелино, — что во время этих рискованных поездок он не встречается с пиратами.

— Да, действительно странно, — ответил комендант. — Но, говорят, бог хранит пьяниц и безумцев. Бьюсь об заклад, что будь мессер Орио в своем уме и понимай он опасность, которой подвергается, плавая почти в одиночестве на утлой лодчонке вдоль

отмелей, кишаших пиратами, его бы в этих прогулках давно уже настигла смерть, которой он словно ищет, но которая вроде бы бежит от него!

— Вы не сказали мне, мессер Леонцио, — прервал Эдзелино его речи, которых он, впрочем, не слушал, — вы не сказали мне, что здесь находится синьора Соранцо.

— Ваша милость не соизволили спросить меня об этом, — ответил Леонцио.

— Она здесь уже около двух месяцев и, думается мне, прибыла сюда без согласия мужа. Ибо, возвратившись из своей патрасской экспедиции, мессер Орио, либо не ожидавший ее, либо в безумии своем позабывший, что она должна к нему приехать, оказал ей весьма холодный прием. Тем не менее от отнесся к ней с величайшим уважением, и раз вашей милости попала на глаза та часть замка, которую видно из этого окна, вы могли заметить, что там выстроили с почти волшебной быстротой деревянное помещение на восточный манер, очень, по правде говоря, простое, но куда более приятное, чем большие, холодные и темные залы во вкусе наших предков. Молодой турецкий раб, вывезенный мессером Соранцо из Патраса, набросал план и описал во всех подробностях, как устроить такой вот гарем, где имеется лишь одна султанша, которая зато прекраснее всех пятисот жен султана, вместе взятых. Здесь сделано все, что возможно, и даже, как говорится, немножко больше, чтобы скрасить племяннице славного адмирала пребывание в этом мрачном жилище.

Эдзелино не прерывал старого коменданта. Он сам не знал, как ему быть. Он и хотел повидать Джованну и боялся этого. Он недоумевал, как надо понимать знак, который она подала ему из своего окна. Может быть, она в печальном своем положении нуждалась в чьем-либо почтительном и бескорыстном покровительстве. Он уже решил было послать к ней Леонцио с просьбой о свидании, когда от Джованны явилась ее греческая служанка и передала Эдзелино приглашение своей госпожи. Эдзелино тотчас же поспешно схватил свою шляпу, небрежно брошенную им на стол, и намеревался уже последовать за девушкой, как вдруг к нему вплотную подошел Леонцио и стал шепотом заклинять его ни в коем случае не идти на зов синьоры, дабы не навлечь на себя и даже на саму синьору гнева Соранцо.

— Он запретил под страхом строжайших кар, — добавил Леонцио, — допускать какого бы то ни было венецианца любого ранга и возраста в свои внутренние покои. А так как и синьоре запрещено выходить за пределы деревянных галерей, заявляю вам, что ваше свидание с ней может оказаться равно пагубным и для вашей милости, и для синьоры, и для меня.

— Что до ваших личных опасений, — решительным тоном ответил Эдзелино, — то я уже говорил вам, синьор: на борту моей галеры вы будете в безопасности. А что касается синьоры Соранцо, то раз она подвергается таким угрозам, пора уже, чтобы нашелся человек, способный избавить синьору от них и готовый на это.

С этими словами он сделал весьма выразительное движение, заставившее Леонцио отшатнуться от двери, к которой он было устремился, чтобы преградить графу путь.

— Я знаю, — произнес он, отступая, — с каким уважением должен относиться к положению, занимаемому вашей милостью в республике и в ее войсках. Поэтому я лишь умоляю вас подтвердить в случае необходимости, что я повиновался данному мне приказу, а ваша милость взяли на себя ответственность за неподчинение ему.

Гречанка достала из ниши на лестнице серебряный светильник, который поставила туда, когда шла к Эдзелино, и провела графа через целый лабиринт коридоров, лестниц и террас до площадки, служившей садом. Теплый воздух ранней и щедрой весны тех мест слегка трепетал в этом защищенном со всех сторон убежище. В вольере щебетали красивые птички, сладостный запах источали цветы, тесно посаженные в горшочках, фестонами подвешенных к колоннам. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь cortile ¹ венецианских палаццо, где искусно насаженные розы и жасмины словно растут из мрамора и камня.

Невольница отодвинула пурпурную завесу главного входа, и граф проник в прохладный будуар византийского стиля, обставленный, однако же, в итальянском вкусе.

Джованна полулежала на парчовых подушках, расшитых разноцветными шелками. Она еще держала в руках лютню, а большой белый борзой пес Орио, лежа у ее ног, словно разделял ее грустное ожидание. Она была все так же прекрасна, хотя совсем по-иному, чем раньше. Здоровый румянец уже не алел на щеках, от заботы и

огорчений формы потеряли юную округлость. Платье белого шелка, в которое она была одета, казалось почти такого же цвета, как ее лицо, а широкие золотые браслеты болтались на похудевших руках. Можно было подумать, что она уже утратила всякое кокетство, всякое стремление украшать себя, обычно свидетельствующее у женщин о счастливой любви. Жемчужные перевязи ее прически распались и вместе с прядями распущенных волос спадали на алебастровые плечи, но она не позволяла невольницам привести их в порядок. Она уже не гордилась своей красотой. В ее жестах, во всей ее повадке болезненная слабость странно сочеталась с какой-то беспокойной порывистостью. Когда вошел Эдзелино, она казалась разбитой усталостью, и ее испещренные голубоватыми жилками веки не ощущали веяния опахала из перьев, которым рабыня-мавританка обвевала ее голову. Однако, услышав шаги графа, она внезапно приподнялась с подушек и вперила в него лихорадочно блестящий взгляд. Она протянула ему обе свои руки сразу, чтобы посильнее сжать его руку, а затем заговорила живо, остроумно, как будто находилась в Венеции, на балу. В следующее мгновение она протянула руку, приняла из рук рабыни золотой флакон, усыпанный драгоценными камнями, и вдохнула из него, побледнев еще больше, словно теряла сознание. Затем рассеянно провела пальцами по струнам лютни, задала Эдзелино несколько пустяковых вопросов, даже не слушая, что он ей отвечает. Наконец она приподнялась, облокотилась на подоконник узкого окошка, находившегося за ее спиной, и, устремив взор на черные волны, где уже начинало трепетать отражение вечерней звезды, погрузилась в безмолвную задумчивость. Эдзелино понял, что в ней — отчаяние.

Через несколько минут она знаком отпустила прислужниц и, оставшись наедине с Эдзелино, вновь обратила к нему свои большие синие глаза, окруженные еще более темной синевой, и взглянула на него со странным выражением доверия и глубокой грусти. Эдзелино, смертельно расстроенный ее видом и поведением, ощутил вдруг в себе пробуждение той нежной жалости, о которой она словно молила его. Он подошел поближе. Она снова протянула ему руку и, усадив его на подушку у своих ног, заговорила:

— О мой брат, о благородный мой Эдзелино, вы, наверное, не ожидали найти меня в таком состоянии? Вы видите, что сделало с

моим лицом страдание. Ах, вы бы мне еще больше посочувствовали, если бы могли поглубже проникнуть в ту бездну муки, что разверзлась в моей душе!

— Я догадываюсь об этом, синьора, — ответил Эдзелино. — И раз вы дали мне святое и нежное имя брата, будьте уверены, что я с радостью исполню братний долг. Приказывайте — я все совершенно точно выполню.

— Не знаю, что вы хотите этим сказать, друг мой, — продолжала Джованна.

— Какие приказы могу я вам отдавать? Разве что поцеловать за меня вашу сестру Арджирию, прелестного ангела, просить, чтобы она молилась и помнила обо мне и говорила обо мне с вами, когда я перестану существовать. — Вот,

— добавила она, отделив от своей прически полуувядший цветок олеандра, — передайте ей это от меня на память и скажите, чтобы она старалась уберечься от страстей, ибо есть страсти, ведущие к смерти, а этот цветок — их эмблема. Это царственный цветок, им венчают триумфаторов, но, как и сама гордыня, он таит в себе утонченный яд.

— Однако, Джованна, не гордыня же убивает вас, — сказал Эдзелино, принимая этот грустный дар. — Гордыня убивает только мужчин, а женщин убивает любовь.

— Но разве не знаете вы, Эдзелино, что у женщин зачастую именно гордыня

— побудитель любви? Ах, мы существа без силы, без доблести, или, вернее, наша слабость и наша энергия одинаково необъяснимы! Когда я думаю, каким ребяческим способом нас соблазняют, с какой легкостью мы попадаем под власть мужчины, я просто понять не могу, почему так упорны эти привязанности, которые так легко возникают и которые невозможно уничтожить. Только что я напевала романс, — вы должны его помнить, ведь он вами для меня сложен. Так вот, напевая, я думала, что в мифе о рождении Венеры скрыт глубокий смысл. Вначале страсть как легкая пена, которую ветер колеблет на гребнях волн. Но дайте ей вырасти, и она станет бессмертной. Будь у вас на это время, я бы просила вас добавить к моему романсу еще куплет, выражающий эту мысль, ибо я его часто пою и очень часто вспоминаю вас, Эдзелино. Поверите ли — когда только что вы произнесли мое имя из окна галереи, у меня не возникло ни тени

сомнения, что это ваш голос. А когда я в сумерках увидела ваш облик, мои глаза узнали вас без малейшего колебания. Ведь мы видим не только глазами. Душа обладает таинственными органами чувств, которые становятся все более чуткими и проницательными, по мере того как мы быстро склоняемся к преждевременному концу. Я часто слышала об этом от дяди. Вы знаете, что рассказывают о Лепантской битве. Накануне того дня, когда оттоманский флот был разгромлен вблизи этих отмелей победоносным оружием наших предков, рыбаки венецианских лагун слышали боевые клики, раздирающие душу стоны и грозную, все усиливающуюся канонаду. Все эти звуки словно колебались на волнах и реяли в воздухе. Слышен был лязг оружия, треск кораблей, свист ядер, проклятия побежденных, жалобы умирающих. А между тем ни в Адриатике, ни на других морях не происходило в ту ночь никакого сражения. Но этим простым душам дано было некое откровение, некое предвидение того, что произошло на следующий день при свете солнца за двести лье от их родины. Тот же инстинкт подсказал мне прошлой ночью, что сегодня я вас увижу. Это, наверное, покажется вам очень странным, Эдзелино, но я видела вас в точно той же одежде, какая на вас сейчас, и точно таким же бледным. Все остальное в моем сне, разумеется, фантастично, однако же я хочу вам об этом рассказать. Вы были на своей галере, у вас происходила схватка с пиратами, и вы в упор выстрелили из пистолета в какого-то человека; лица я не смогла разглядеть, но на голове у него был красный тюрбан. В этот самый миг видение исчезло.

— Это действительно странно, — произнес Эдзелино, пристально смотря на Джованну; глаза у нее были ясные, блестящие, речь живая и словно вдохновленная некой силой провидения.

Джованна заметила его изумление.

— Вы, наверное, подумаете, что разум мой помутнел. Но это не так. Я не придаю этому сну особого значения и не обладаю даром сивилл. А как драгоценен был бы он мне в часы пожирающей тревоги, которым нет конца и которые меня медленно убивают! Увы! Соранцо ежедневно подвергается смертельной опасности, но тщетно вопрошаю я всей силой моих чувств и моей души ужасную ночную тьму и туманы морских далей. Ни мучительные бдения, ни зловещие сны даже слегка не приоткрыли мне тайну его судьбы. Но прежде чем

покончить со всеми этими видениями — они, наверное, вызывают у вас усмешку, — позвольте мне сказать вам, что человек в красном тюрбане из моего сна, прежде чем растаять в воздухе, сделал вам угрожающий знак. Позвольте еще добавить — и простите мне эту слабость, — что в тот миг, когда видение исчезло, я ощутила такой ужас, какого не испытывала, пока перед моими глазами стояла картина этой битвы. Не относитесь с полным пренебрежением к мрачным предчувствиям души, более удрученной, чем больной. Мне кажется, что вам угрожает со стороны пиратов великая опасность, и я умоляю вас не пускаться в море, не попросив у моего супруга дать вам сильную охрану до самого выхода из наших отмелей. Обещайте мне это.

— Увы, синьора, — ответил Эдзелино с грустной улыбкой, — можете ли вы принимать участие в моей судьбе? Что я такое для вас? Привязанность ваша ко мне оказалась недостаточно сильной, чтобы вы избрали меня своим супругом, доверие ваше ко мне — недостаточно глубоким, чтобы вы признали меня братом, ибо вы отказываетесь от моей помощи, а ведь я убежден, что она вам нужна.

— Я люблю вас, как брата, и доверяю вам, как брату. Но я не понимаю, что вы хотите сказать, говоря о помощи. Правда, я страдаю, меня просто убивает ужасающая мука, но тут вы ничего не можете поделать, дорогой мой Эдзелино. А раз уж мы заговорили о доверии и любви, один бог может вернуть мне любовь и доверие Соранцо.

— Вы признаете, что потеряли его любовь, синьора; может быть, вы признаете и то, что ее место заступила ненависть?

Джованна вздрогнула и в ужасе убрала свою руку, протянутую к Эдзелино.

— Ненависть! — вскричала она. — Кто сказал вам, что он меня ненавидит? О, какое слово вы произнесли! И кто поручил вам нанести мне смертельный удар? Увы! Значит, я узнаю от вас, что еще не страдала по-настоящему, что его равнодушие было для меня счастьем!

Эдзелино понял, с какой силой любила еще Джованна этого соперника, которого он обвинил, сам того не желая. Он почувствовал, что причинил несчастной женщине жестокую боль, и в то же время ему стало стыдно роли, которую он сыграл, ибо она была совершенно не свойственна его характеру. Поэтому он поспешил успокоить Джованну, уверяя ее, что отнюдь не знает, какие на самом деле

чувства питает к ней Орио. Но она лишь с трудом поверила, что говорил он исключительно из заботы о ней и просто задал ей вопрос.

— Может быть, кто-нибудь здесь говорил вам о нем и обо мне? — повторяла она несколько раз, стараясь прочесть правду в его глазах. — Может быть, вы, сами того не зная, произнесли надо мной приговор, и здесь лишь мне одной неизвестно, что он меня ненавидит? О, этого я не думала!

С этими словами она разрыдалась, и граф, который, сам того не сознавая, ощущал в своем сердце пробуждение надежды, ощутил сейчас и то, что сердце его разбито навсегда. Сделав над собой великодушное усилие, он принялся утешать Джованну и убеждать ее, что говорил наугад. Затем он стал дружески расспрашивать, как же обстоит все на самом деле. Ослабевшая от слез и побежденная благородством Эдзелино, она поддалась внезапному порыву и стала говорить с ним более откровенно, чем, может быть, намеревалась.

— О, друг мой, — сказала ему она, — пожалейте меня, ибо с моей стороны было безумием избрать в качестве жизненной опоры это блистательное существо, которое неспособно любить! Орио не такой человек, как вы, — полный нежной заботливости и преданности. Он человек действия и воли. Женская слабость не вызывает у него сочувствия — она только мешает ему. Доброта его сводится к терпимости и не простирается до покровительства. Нет человека, который менее достоин любви, ибо ни один человек не понимает и не ощущает любви меньше, чем он. И однако же именно он внушает самую сильную страсть, самую неутолимую преданность. Его нельзя любить или ненавидеть наполовину — вы сами это знаете. И вы также знаете, несомненно, что так всегда бывает с подобными людьми. Пожалейте же меня, ибо я его люблю до безумия и власть его надо мной безгранична. Теперь вы понимаете, благородный Эдзелино, что в этой беде мне помочь невозможно. Я ни в чем не обманываюсь, и вы можете отдать мне справедливость — я всегда была чистосердечна с вами, как с самой собой. Орио вполне достоин восхищения и уважения, ибо у него выдающийся ум, благородное мужество и стремление к великим делам. Но он не заслуживает ни дружбы, ни любви, ибо сам не способен их ощущать. Да они ему и не нужны: все, что он может сделать для тех, кто его любит, — это позволять себя любить. вспомните то, что я говорила вам в Венеции в

тот день, когда смело, хотя и эгоистично, раскрыла вам свое сердце и призналась, что он внушает мне страстную любовь, а вы — только братскую.

— Не будем вспоминать об этом скорбном для меня дне, — молвил Эдзелино.

— Когда человек, подвергнутый пытке, не умирает, всякое напоминание о ней возобновляет муку.

— Соберитесь с силами и все же вспомните обо всем этом вместе со мной,

— продолжала Джованна, — мы, возможно, видимся в последний раз, и я хочу, чтобы вы расстались со мною уверенный в моем уважении к вам, в моем раскаянии — я ведь так сожалею о своем поведении по отношению к вам.

— Не говорите мне о раскаянии! — вскричал Эдзелино в порыве нежной жалости. — Разве вы совершили какое-либо преступление или хотя бы легкую ошибку? Разве вы не были со мной откровенны и чистосердечны? Не были ласковы и полны жалости, когда сами сказали мне то, что всякая другая на вашем месте дала бы понять через своих родителей или же прикрываясь каким-нибудь благовидным предлогом? Я помню ваши слова; они запечатлелись в моем сердце как утешение навеки и в то же время как вечное сожаление. «Простите мне, — сказали вы, — зло, которое я вам причиняю, и молитесь богу, чтобы он не покарал меня за него, ибо нет у меня больше своей воли; я уступаю судьбе, которая сильнее меня».

— Увы, увy! — сказала Джованна. — Да, то была судьба! Я уже тогда чувствовала это, ибо любовь мою породил страх, который завладел мною еще до того, как я поняла, насколько он обоснован. Знаете, Эдзелино, во мне всегда имелась склонность к самопожертвованию, словно еще при рождении я была предназначена к закланию на алтаре бог весть какой силы, жаждущей моей крови и слез. Я помню все, что происходило во мне, когда вы торопили меня выйти за вас замуж до того рокового дня, когда я впервые увидела Соранцо. «Чего медлить, — говорили вы, — раз мы любим друг друга? Зачем оттягивать свое счастье? То, что мы оба молоды, вовсе не причина. Ждать — это искушать бога, ибо грядущее в его власти, а не пользоваться настоящим означает стремление заранее завладеть грядущим. Только несчастливые должны говорить „завтра“,

счастливые же — „сейчас“! Кто знает, во что мы превратимся завтра? Кто знает, не разлучит ли нас навеки турецкая пуля или морской вал? И вы-то сами, разве вы можете быть уверены в том, что будете любить меня, как сегодня?» Видно, какое-то смутное предчувствие заставляло вас говорить так, побуждало торопиться. А еще более смутное предчувствие не давало мне уступить, повелевало ждать. Ждать чего? Я не знала, но мне верилось, что будущее обещает мне что-то, раз настоящее не удовлетворяло.

— Вы были правы, — произнес граф, — будущее обещало вам любовь.

— И уж наверное, — с горечью ответила Джованна, — совсем не ту любовь, какую я испытывала к вам. Но не мне на это жаловаться: я ведь нашла то, чего искала. Я презрела покой и обрела грозу. Помните тот день, когда я сидела с дядей и с вами? Я вышивала, а вы читали мне стихи. Доложили о приходе Орио Соранцо. При этом имени я вздрогнула, и в один миг на память мне пришло все, что я слышала об этом странном человеке. Я никогда не видела его, но вся затрепетала, когда до меня донеслись его шаги. Я не обратила внимания ни на его роскошную одежду, ни на его высокий рост, ни на божественно прекрасные черты лица — я увидела только большие черные глаза, и, грозные и в то же время нежные, сияющие, они приближались ко мне, не отрываясь от меня. Завороженная этим колдовским взглядом, я уронила свое рукоделие на пол и застыла, словно пригвожденная к креслу, не в силах ни встать, ни отвернуть голову. В тот момент, когда Соранцо, подойдя совсем близко, склонился, чтобы поцеловать мне руку, я, не видя больше этих заморозивших меня глаз, лишилась чувств. Меня унесли, а дядя, сославшись на мое нездоровье, попросил его перенести свое посещение на какой-нибудь другой день. Вы тоже удалились, так и не поняв, почему я упала в обморок.

Орио же, лучше знавший и женщин и свою власть над ними, сообразил, что, пожалуй, имеет некоторое отношение к моей внезапной дурноте. Он решил убедиться в этом. С час он прогуливался в гондоле по каналу Аццо, затем велел остановиться у дворца Морозини. Там он вызвал дворецкого и сказал ему, что явился лишь затем, чтобы узнать, как мое здоровье. Когда ему ответили, что я совсем пришла в себя, он зашел в дом, считая, как он сам заявил, что теперь это вполне удобно, и велел снова доложить о себе. Он нашел,

что я немного побледнела, но именно от этого, по его мнению, стала еще прекраснее. Дядя мой принял его несколько сдержанно, однако сердечно поблагодарил за внимание ко мне и за то, что он потрудился так скоро возвратиться, чтобы узнать о моем здоровье. После обмена этими любезностями Орио собрался было уходить, но мы попросили его остаться. Он не заставил себя упрашивать, и беседа наша продолжалась. С самого начала решив воспользоваться первым произведенным на меня впечатлением, он постарался щегольнуть передо мною всеми дарами, которыми его наделила природа, и усилить обаяние своей наружности чарами ума. Это ему блестяще удалось, и когда через два часа он наконец почел за благо удалиться, я была совсем покорена. Он попросил у меня разрешения прийти на следующий день и, получив его, откланялся в полной уверенности, что вскоре благополучно завершит все столь благоприятно начатое. Победу он одержал легко и скоро. Первый же его взгляд повелел мне принадлежать ему, и я сразу стала его добычей. Могу ли я, положив руку на сердце, сказать, что любила его? Он ведь был мне совершенно незнаком, а слышала я о нем одно лишь худое. Как же случилось, что я предпочла человека, внушавшего мне пока лишь некий страх, тому, кто внушал доверие и уважение? Посмею ли я в свое оправдание ссылаться на волю рока? Не лучше ли будет признаться вот в чем: в сердце любой женщины тщеславная радость от мысли, что внешне как будто царишь над сильным мужчиной, смешиваешься с робостью, отдающей тебя на деле в полную его власть. Да, да! Я суетно гордилась красотой Орио, гордилась всеми страстями, которые он внушал другим женщинам, и всеми поединками, в которых он одерживал победы над мужчинами. Даже его репутация распутника казалась мне чем-то достойным привлечь внимание, приманкой для любопытства других женщин. Мне льстило, что я отнимаю у них это ветреное и себялюбивое сердце, которое всем им изменило и всем оставило горькие сожаления. В этом отношении моя роковая гордыня была, во всяком случае, удовлетворена. Орио остался мне верен, и со дня нашей свадьбы другие женщины как будто перестали для него что-либо значить. Некоторое время он вроде бы любил меня, но вскоре утратил любовь и ко мне и вообще к кому-либо — все его существо поглотила любовь к славе. Я никогда не понимала, почему, так нуждаясь всегда в независимости и деятельной жизни, он решился

возложить на себя узы, которые обычно неизбежным образом ограничивают и то и другое.

Эдзелино внимательно посмотрел на Джованну. Трудно было поверить, что она говорит безо всякой задней мысли и настолько ослеплена, что даже не подозревает о честолюбивых замыслах, побудивших Орио искать ее руки. Но, поняв всю чистоту ее благородной души, он не осмелился открыть ей глаза и только спросил, как случилось, что она так скоро утратила любовь мужа.

Вот что она ему поведала:

— До нашей свадьбы казалось, что он беззаветно любит меня. Во всяком случае, я в это верила, ибо так он мне говорил, а речи его до того страстны и убедительны, что перед ними не устоять. Он уверял, что слава — пустой дым, который может только вскружить голову юношам или одурманить неудачников. Он участвовал в последней кампании лишь для того, чтобы заткнуть рот дуракам и завистникам, обвинявшим его в изнеженности и любви к наслаждениям. Он пошел навстречу всем опасностям с равнодушием человека, подчиняющегося обычаю своего времени и своей страны. Он смеялся над юнцами, которые восторженно устремляются в бой и считают себя невесть чем, потому что рисковали жизнью и подвергались опасностям, на которые спокойно идет любой солдат. Он говорил, что в жизни человеку приходится делать выбор между счастьем и славой, и так как счастье обрести почти невозможно, большинство вынуждено бывает искать славы. Но уж если человеку далось в руки счастье, особенно же счастье в любви, самое полное, самое реальное и благородное, то он оказался бы нищим и духом и сердцем, когда бы отвернулся от этого счастья и вновь увлекся успехами жалкого тщеславия. Орио расточал мне все эти речи, так как слышал, будто вы утратили мою благосклонность из-за того, что отказались дать мне обещание не идти больше на войну.

Он видел, что душа у меня нежная, характер кроткий, что я колеблюсь при мысли о разлуке с ним сейчас же после нашей свадьбы. Он хотел жениться на мне и ради этого, как он мне потом сказал, готов был на любую жертву, любое обещание, самое неосторожное и лживое. О, как он меня тогда любил! Но у мужчин страсть — это лишь желание, и все надоедает им, как только они добиваются своего. Очень скоро после нашей свадьбы я заметила, что

он чем-то озабочен, что его снедает какая-то тайная тревога. Его снова поглотила светская суэта, и он привлек в мой дом чуть ли не весь город. Мне почудилось, будто страсть к игре, за которую его так упрекали, и потребность в необузданной роскоши, из-за которой он прослыл суетным и ветреным, вновь быстро завладевают им. Меня это испугало, но вовсе не из-за низменных опасений за мое достояние: я не считала его своим, после того как с радостью отдала Орио все, что унаследовала от предков. Но страсти эти отдаляли его от меня. Он мне их изображал как ничтожные забавы, которые дух пламенный и деятельный принужден создавать себе за неимением более достойной пищи. А пища эта, единственная достойная души Орио, есть любовь такой женщины, как я. Все другие женщины либо обманывали его, либо казались ему недостойными занимать все его душевные силы. Он был бы обречен на то, чтобы растрчивать их в пустых удовольствиях. Но какими ничтожными представлялись ему эти удовольствия теперь, когда во мне он обрел источник всех радостей! Вот как он со мной говорил, а я, глупая, всему этому слепо верила. Какой же ужас овладел мною, когда я убедилась, что удовлетворяю его не больше, чем другие женщины, и что, лишившись празднеств и развлечений, он не находит подле меня ничего, кроме скуки и раздражения! Однажды, когда он проиграл очень большие деньги и пришел в некое отчаяние, я тщетно пыталась утешить его, уверяя, что мне безразличны все печальные последствия его проигрышей и что жизнь в каких угодно лишениях для меня будет так же сладостна, как любое изобилие, лишь бы она меня с ним не разлучала. Я обещала ему, что дядя ничего не узнает о его опрометчивости, что я лучше продам потихоньку свои брильянты, чем навлеку на него хоть один упрек. Видя, что он меня не слушает, я жестоко огорчилась и упрекнула его, но очень мягко, за то, что он больше расстраивается потерей денег, чем горем, которое причиняет мне. То ли он искал предлога, чтобы уйти, то ли я этим упреком невольно задела его самолюбие, но он сделал вид, будто оскорблен моими словами, пришел в ярость и заявил, что намерен вернуться на военную службу. Несмотря на мои мольбы и слезы, он на следующий же день попросил у адмирала назначение и принялся готовиться к отъезду. Если бы речь шла о чем-либо другом, я нашла бы у своего любящего дяди и поддержку и покровительство. Он убедил бы Орио не покидать меня,

вернул бы его ко мне. Но дело касалось войны, и забота о славе республики возобладала в сердце моего дяди. Он отечески пожурил меня за слабость, сказал, что стал бы презирать Соранцо, если бы тот проводил время у ног женщины, вместо того чтобы защищать честь и интересы своего отечества. Орио, сказал он мне, выказал в предыдущую кампанию исключительное мужество и военные таланты и тем самым как бы взял на себя обязательство и долг служить своей стране, пока она нуждается в его службе. Пришлось мне уступить: Орио уехал, я осталась наедине со своим горем.

Долго, очень долго не могла я оправиться от этого удара. Но затем стали приходить письма Орио, полные любви и нежности. Они вернули мне надежду, и если бы не постоянная тревога и беспокойство от мысли, что он подвергается таким опасностям, я бы все же ощущала нечто вроде счастья. Я воображала, что нежность его ко мне осталась прежней, что честь предписывает мужчинам законы более священные, чем любовь, что он сам себя обманывал, когда в первых порывах страсти уверял меня в противном, что, наконец, он вернется ко мне такой же, каким был в лучшие дни нашей любви. Каковы же были мое горе и изумление, когда с началом зимы, вместо того чтобы попросить у дяди разрешения провести подле меня время отдыха (разумеется, он бы его получил), он написал мне, что вынужден принять должность губернатора этого острова, чтобы подавить пиратов. Он высказывал великое сожаление о том, что не сможет ко мне приехать, и потому я, в свою очередь, написала ему, что поеду на Корфу и буду на коленях умолять дядю отозвать его с острова. Если дядя все же не согласится, писала я, то я сама приеду разделить его одиночество на Курцолари. Однако я не осмеливалась осуществить свое намерение до получения ответа от Орио, ибо чем сильнее любишь, тем больше опасаясь вызвать неудовольствие любимого человека. Он ответил мне в самых ласковых выражениях, что умоляет меня не ездить к нему. Что же до просьбы об отпуске для него, то он, писал Орио, будет крайне уязвлен, если я это сделаю, — ведь в армии у него немало недругов: его счастье — женитьба на мне — породило завистников, старающихся очернить его в глазах адмирала, они-то уж обязательно начнут говорить, будто он сам учил меня просить дядю об отпуске для него, чтобы он мог предаваться лени и удовольствиям. Этому последнему запрету я подчинилась. Но что касается первого, то

он ведь не приводил никаких доводов, кроме того, что жильё здесь очень мрачное и меня ожидают всевозможные лишения; к тому же это его письмо показалось мне более пылким, чем все предыдущие. Поэтому я решила, что приезд к нему, чтобы разделить его одиночество, будет доказательством моей преданности, и, не отвечая ему, не оповещая о своем приезде, я тотчас же выехала. Морское путешествие было долгое и мучительное, погода — плохая. Я подвергалась всевозможным опасностям. Наконец, добравшись до этого острова, я была совершенно расстроена, не застав здесь Орио. Он отправился в это злосчастное патрасское предприятие, и гарнизон острова пребывал в большой тревоге на его счет. Прошло много дней без единой весточки о нем, и я уже теряла надежду увидеть его когда-либо. Я попросила, чтобы мне показали место, с которого он вышел в море и куда должен был прибыть, и целыми часами сидела там, глядя в морскую даль. Так проходили дни за днями, ничего не меняя в моем положении. Наконец, как-то утром, придя на свою скалу, я увидела, что из подошедшей лодки выходит на берег турецкий солдат и с ним мальчик, одетый точно так же. При первом же движении солдата я узнала Орио и тотчас же сбежала со скалы броситься в его объятия. Но он посмотрел на меня таким взглядом, что вся кровь отхлынула от моего лица и смертный холод сковал все тело. Я была в большем смятении и ужасе, чем в тот день, когда впервые увидела его, и, так же как в тот день, лишилась чувств: мне почудились в лице его угроза, насмешка, презрение, сильнее которых не могло быть. Очнулась я в своей комнате, на своем ложе.

Орио заботливо ухаживал за мной, и на его лице уже не было того устрашающего выражения, от которого словно разорвалось все мое существо. Он ласково заговорил со мной и представил мне сопровождавшего его юношу как человека, который спас ему жизнь и вернул свободу, открыв ночью двери темницы. Он просил меня взять его в качестве слуги, но обращаться больше как с другом, чем как со слугой. Я попыталась заговорить с Наамом — так зовут мальчика, — но он ни слова не знает по-нашему. Орио сказал ему что-то по-турецки, юноша взял мою руку и положил ее себе на голову в знак привязанности и повиновения.

Весь этот день я была счастлива. Но на следующий Орио с утра заперся в своем помещении, и я увидела его лишь вечером, такого

угрюмого и мрачного, что у меня не хватило духу заговорить с ним. Он поужинал со мной и сразу же ушел. С того времени, то есть вот уже два месяца, его лицо остается хмурым. Он весь поглощен какой-то своей мукой или не ведомым никому решением. В отношении меня он не выказал гнева или хотя бы раздражения. Напротив — проявил очень много стараний, чтобы жизнь в этой башне была для меня приятной, словно что-либо, кроме его любви или его равнодушия, может быть для меня хорошим или дурным.

Он велел прислать из Кефалонии рабочих и все, что было необходимо, чтобы наскоро выстроить для меня это жилье. Велел он прислать и женщин, чтобы они мне прислуживали, и среди всех своих самых мрачных забот никогда не переставал беспокоиться о моих нуждах и предупреждать все мои желания. Увы! Ему как будто неизвестно, что у меня-то есть одно настоящее желание — вернуть себе его любовь. Иногда — очень редко! — он возвращался ко мне, внешне как будто полный самой пылкой любви. Он доверительно сообщал мне, что у него имеются очень важные замыслы, что его просто снедает жажда мести пиратам, которые перебили его людей, забрали его галеру, а теперь занимаются разбоем тут, у него на глазах, что он не успокоится, пока не уничтожит их всех до единого. Но, едва успев сделать мне эти признания, он, опасаясь моих слез и волнения, вырывался из моих объятий и уходил размышлять в одиночестве об этих воинственных планах. Под конец мы дошли до того, что видимся теперь всего несколько часов в неделю, а где он находится все остальное время и что делает, я не знаю. Иногда он сообщает мне через кого-нибудь, что, воспользовавшись хорошей погодой, выезжает на морскую прогулку, а затем я узнаю, что он и не выходил из замка. А иной раз заявляет, что весь вечер проработает, запершись у себя, а на рассвете я вижу, что он торопливо мчится к острову по серым волнам, словно желая скрыть от меня, что провел ночь вне замка. Я уже не осмеливаюсь расспрашивать его, — тогда он становится страшным, и все перед ним трепещет. Я скрываю от него свое отчаяние, и те мгновения, что он проводит подле меня, становятся вместо облегчения настоящей пыткой, — ведь я вынуждена следить за каждым своим словом, даже за каждым взглядом, чтобы не выдать ни одной донимающей меня зловещей мысли. Когда, несмотря на все мои усилия, он все же замечает на моих глазах слезинку, он молча

жмет мне руку, встает и уходит без единого слова. Однажды я уже готова была броситься к его ногам, обнять его колена, влачиться за ним по полу, чтобы он согласился разделить со мной хотя бы заботы свои и чтобы обещать ему, что я соглашусь на все его замыслы, не проявляя ни слабости, ни страха. Но при малейшем моем движении взгляд его пригвозждает меня к месту, и слова замирают у меня на губах. Мне чудится, что если бы мое горе прорвалось перед ним, весь остаток сострадания и внимания, которые он ко мне еще проявляет, превратился бы в ярость и отвращение. Я осталась нема! Вот почему, когда вы говорите мне о его ненависти, я отвечаю, что это невозможно, ибо я ее не заслужила. Я молча умираю.

Эдзелино заметил, что этот рассказ оставляет в тени наиболее важные обстоятельства рассказа Леонцио. Джованна, видимо, и не думала считать Соранцо безумцем, а наводящие вопросы, которые граф осторожно задавал ей на этот счет, ничего не прояснили. Джованне ли не хватало полного доверия к нему, или Леонцио наговорил неправды? Видя, что все его попытки раздобыть точные сведения бесплодны, Эдзелино, во всяком случае, пришел к убеждению, что она погибнет от слабости и печали, если останется в этом унылом замке, стал упрашивать ее переехать на Корфу к дяде и предложил тотчас же увезти ее с собой. Однако она самым решительным образом отвергла это предложение, заявив, что ни за что на свете не поступит так, чтобы у дяди появилось подозрение, будто она несчастлива с Орио: ведь малейшей ее жалобы достаточно, чтобы тот впал в немилость у адмирала. Впрочем, она даже утверждала, что Орио не сделал ей решительно ничего худого; если любовь ее к нему превратилась для нее в муку, то не Орио же обвинять во зле, которое она сама себе причиняет.

Эдзелино решился спросить, не содержится ли она как бы в некотором заключении и нет ли строжайшего запрещения ей видаться с любым соотечественником. Она ответила, что ничего подобного нет и что она сама не стала бы принимать Эдзелино, если бы эта невинная радость была сопряжена с ослушанием. Орио никогда не проявлял ни малейшей ревности и неоднократно повторял, что она может принимать, кого ей вздумается, ни о чем его даже не предупреждая.

Эдзелино не знал, что и думать об этом явном противоречии между словами Джованны и Леонцио.

Вдруг большой белый пес, все время, казалось, спавший, вздрогнул, поднялся и, положив передние лапы на подоконник, насторожил уши и замер.

— Твой хозяин идет, Сириус? — сказала Джованна.

Собака повернулась к ней, словно понимая, о чем идет речь. Потом, приподняв голову и раздув ноздри, вздрогнула всем телом и протяжно взвизгнула; в этой жалобе слышались боль и нежность.

— Вот Орио! — молвила Джованна, обвив худой бледной рукой шею верного пса. — Он возвращается! Этот благородный пес всегда узнает по плеску весел лодку своего хозяина. А когда я хожу с ним ждать Орио на скале, он, завидя на волнах малейшую черную точку, молчит либо воет так, как сейчас, в зависимости от того, чья там лодка — Орио или кого-либо другого. С тех пор как Орио перестал брать его с собой, он перенес на меня свою привязанность и ходит за мной повсюду, как тень. Он, как я, грустит и болеет; как я, знает, что уже не дорог своему господину; как я, помнит, что его любили!

И Джованна, высунувшись из окна, попыталась рассмотреть лодку в ночном мраке. Но море было черным, как небо, а плеск весел нельзя было отличить от равномерного плеска волн о подножие скалы.

— Вы уверены, — спросил граф, — что мое присутствие в ваших покоях не вызовет у вашего мужа неудовольствия?

— Увы! Такой чести, как ревновать меня, он мне не оказывает, — ответила она.

— Но, может быть, — заметил Эдзелино, — мне лучше будет пойти ему навстречу?

— Не делайте этого, — сказала она, — он, пожалуй, подумает, что я поручила вам следить за ним. Оставайтесь здесь. Может быть, сегодня вечером я вообще его не увижу. Часто он возвращается с этих длительных прогулок, даже не сообщив мне о своем возвращении, и если бы не изумительный инстинкт этого пса, который всегда оповещает меня о его прибытии на остров, я почти никогда не знала бы, здесь ли он или отсутствует. А теперь на всякий случай помогите мне снова закрыть окно этой ставней. Он никогда не простит мне, если узнает, что я сделала ее подвижной, чтобы иметь перед глазами выходящую к морю часть замка. Он велел забить это отверстие

изнутри, уверяя, что бесполезным постоянным созерцанием моря я только нарочно растрavляю свою тревогу.

Эдзелино закрепил ставню, вздохнув от жалости к этой несчастной женщине.

До появления Орио прошло еще немало времени. О его прибытии пришел доложить турецкий раб, никогда не покидавший Орио. Когда юноша вошел в комнату, Эдзелино поразила совершенная правильность его черт, одновременно и тонких и строгих. Хотя он и вырос в Турции, сразу видно было, что его породе свойственна более горделивая закалка. Арабский тип сквозил в удлиненной форме больших черных глаз, в точеном, твердом профиле, в невысоком росте, в красоте рук с тонкими пальцами, в бронзоватой смуглоте гладкой, безо всяких оттенков кожи. И по голосу Эдзелино узнал в юноше араба, говорившего по-турецки свободно, но не без характерного гортанного акцента, полного странной для непривычного слуха гармонии, которая постепенно завладевает душой, лаская ее какой-то неведомой сладостью. Увидя мальчика, борзой пес бросился к нему так, словно хотел растерзать. Тогда лицо у того совершенно изменилось: он улыбнулся как-то жестоко и хищно, обнажая два ряда белых мелких и частых зубов, и чем-то стал похож на пантеру. Одновременно он выхватил из-за пояса кривой кинжал, но блеснувший клинок только раздражил ярость пса. Джованна крикнула, собака остановилась и послушно вернулась к ней, а невольник, вложив ятаган в золотые, усыпанные драгоценными камнями ножны, преклонил колено перед госпожой.

— Видите? — обратилась Джованна к Эдзелино. — С тех пор как этот раб занял подле Орио место его верного пса, Сириус так ненавидит его, что я боюсь за собаку: юноша всегда вооружен, а никаких приказов я ему отдавать не могу. Ко мне он проявляет уважение, даже доброе чувство, но повинуеться только Орио.

— А он не может объясняться по-нашему? — спросил Эдзелино, видя, что раб знаками дает понять о возвращении Орио.

— Нет, — ответила Джованна, — а женщины, которая служит нам переводчицей, здесь сейчас нет. Может быть, позвать ее?

— Не нужно, — сказал Эдзелино. И, обратившись к юноше по-арабски, он предложил ему изложить то, что тот должен был сообщить, а затем передал его слова Джованне: Орио, вернувшись со

своей прогулки, узнал о прибытии благородного графа Эдзелино и намеревается пригласить его отужинать в покоях синьоры Соранцо; он также просит извинения за то, что не сразу явится к гостю, так как ему надо еще отдать кое-какие распоряжения на ночь.

— Скажите мальчику, — ответила Джованна Эдзелино, — чтобы он передал своему господину такой ответ: приезд благородного Эдзелино для меня радостен вдвойне, ибо я смогу поужинать с моим супругом. Впрочем, нет, — добавила она, — этого не говорите. Он, пожалуй, усмотрит тут скрытый упрек. Передайте, что я повинуюсь, что мы ждем.

Эдзелино передал эти слова молодому арабу, и тот почтительно склонился. Но прежде чем выйти из комнаты, он остановился перед Джованной и, внимательно поглядев на нее, знаками объяснил, что находит ее еще более нездоровой, чем обычно, и этим очень огорчен. Затем, подойдя к ней, с простодушной бесцеремонностью коснулся ее волос и дал понять, что ей следовало бы уложить их в прическу.

— Передайте ему, что я понимаю его добрые советы, — сказала Джованна графу, — и последую им. Он предлагает мне принарядиться, украсить волосы цветами и драгоценностями. Славный, простой ребенок, он воображает, будто любовь мужчины можно вернуть такими ребяческими средствами! Ведь для этого ребенка любовь — миг наслаждения.

Все же Джованна последовала немому совету юного араба. Она прошла со своими женщинами в соседнюю комнату, а выйдя оттуда, так и сияла в украшениях. Но богатое одеяние Джованны мучительно не соответствовало глубокой удрученности, царившей в ее душе. Само положение этого жилища, словно построенного на волнах и среди вечных ветров, мрачный ропот моря и насвистывание начавшегося сирокко, какое-то смущение, появившееся на лицах слуг с момента, когда в замок вернулся хозяин, — все вместе взятое делало эту сцену странной и тягостной для Эдзелино. Ему чудилось, будто он спит, а эта женщина, которую он прежде так любил и с которой еще нынче утром не ожидал так скоро свидеться, внезапно представшая перед ним бледной, изнемогающей, показалась ему во всем блеске своего праздничного наряда каким-то призраком.

Но щеки Джованны вновь зарумянились, глаза заблестели, и она горделиво подняла голову, когда Орио вошел в зал с открытым

взглядом и чистосердечным выражением лица, тоже принарядившись, как в самые лучшие дни своих любовных успехов в Венеции. Его густые черные волосы спадали к плечам лоснящимися надушенными завитками, а легкая тень небольших усиков с приподнятыми по венецианской моде уголками тонко вырисовывалась на матово-бледных щеках. Все в нем дышало изяществом, доходившим до изысканности. Джованна так давно привыкла видеть его небрежно одетым, с лицом угрюмым или искаженным гневом, что когда перед нею предстал образ того Орио, который любил ее, она вообразила вдруг, что к ней снова вернулось счастье. И действительно можно было подумать, что Соранцо хочет в этот вечер загладить все свои вины. Ибо прежде даже, чем поздороваться с Эдзелино, он подошел к ней с рыцарственным вниманием и несколько раз поцеловал обе ее руки, проявляя супружеское уважение и вместе с тем пыл влюбленного. Затем он рассыпался перед Эдзелино в извинениях и любезностях и пригласил его в большой зал, где подан был ужин. Когда они расселись за роскошно накрытым столом, он забросал его вопросами о происшествии, доставившем ему честь и радость принимать его у себя. Эдзелино рассказал обо всем, что с ним случилось, а Соранцо слушал его с вежливым сочувствием, не проявляя, впрочем, ни удивления, ни возмущения действиями пиратов, и с любезно-сокрушенным видом человека, огорченного бедой ближнего, но ни в малейшей мере не ощущающего какой-либо ответственности. В тот миг, когда Эдзелино заговорил о плаваре пиратов, которого он ранил и обратил в бегство, глаза его встретились с глазами Джованны. Она была бледна, как смерть, и бессознательно повторяла только что произнесенные им слова: «Человек в ярко-красном тюрбане с черной бородой, скрывающей почти целиком его лицо!..»

— Это он, — добавила она, охваченная каким-то тайным ужасом, — мне кажется, я его снова вижу!

И ее испуганный взгляд, привыкший искать на лице Орио ответа на все, встретился со взглядом ее господина, таким неумолимым, что она откинулась на спинку стула, губы у нее посинели, сердце сжалось. Но, сделав над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не оскорбить Орио, она успокоилась и заставила себя улыбнуться:

— Сегодня ночью я видела такой сон.

Эдзелино тоже смотрел на Орио. Тот был необычайно бледен, а сдвинутые брови его словно говорили о том, что в душе его бушует гроза. Вдруг он громко расхохотался, и этот резкий, жесткий смех мрачным эхом отозвался в глубине зала.

— Это, наверное, тот самый ускок, — сказал он, оборачиваясь к коменданту Леонцио. — Синьора увидела его во сне, а благородный граф убил сегодня в действительности.

— Безо всякого сомнения, — серьезным тоном ответил Леонцио.

— А кто же такой этот ускок, скажите, пожалуйста? — спросил граф. — Разве в ваших морях еще существуют разбойники? В наше время о подобных вещах что-то не слышно; они относятся к эпохе войн, которые республика вела при Маркантонио Меммо и Джованни Бембо. Сейчас могут появляться только призраки ускоков, мой добрый синьор Леонцио.

— Ваша милость может думать, что их больше нет, — возразил несколько уязвленный Леонцио. — Ваша милость, на свое счастье, изволите находиться в расцвете юности и не видели того, что происходило еще до вашего рождения. Что до меня, бедного старого слуги святейшей и славнейшей республики, я неоднократно сталкивался с ускоками, даже однажды попал к ним в плен, и мою голову едва-едва не водрузили в качестве *ferale* ² на носу их галиота. Потому-то я и могу сказать, что узнаю ускока среди десятков тысяч пиратов, корсаров, флибустьеров — словом, среди всей той сволочи, что именуется морскими разбойниками.

— Величайшее мое уважение к вашему жизненному опыту запрещает мне спорить с вами, добрый мой комендант, — сказал граф, принимая с легкой иронией урок, который дал ему Леонцио. — Для меня лучше будет, если я кое-чему поучусь, слушая ваши речи. Поэтому я хочу спросить вас, как же можно узнать ускока среди десятков тысяч пиратов, корсаров и флибустьеров, чтобы мне знать, к какой же породе принадлежит разбойник, напавший на меня сегодня; я ведь с радостью поохотился бы за ним, не будь время уже слишком позднее.

— Этот ускок, — ответил Леонцио, — среди разбойников то же, что акула среди прочих морских чудовищ: он от всех отличается своей ненасытной свирепостью. Вы знаете, что эти гнусные пираты пили кровь своих жертв из человеческих черепов, чтобы вытравить в себе

малейшую жалость. Принимая какого-нибудь беглеца на свой корабль, они заставляли его проделать этот омерзительный обряд, чтобы испытать, не осталось ли у него каких-либо человеческих чувств, и если он колебался перед этой гнусностью, его бросали за борт. Словом, известно, что их способ заниматься морским разбоем — это топить захваченные суда и не щадить ничьей жизни. До последнего времени миссолунгцы, пиратствуя, ограничивались только грабежом судов. Всех, кто сдавался, они уводили в плен, а потом отпускали за выкуп. Теперь все происходит по-другому: когда в их руки попадает корабль, всех пассажиров вплоть до детей и женщин тут же убивают, а на волнах не остается даже доски от захваченного ими судна, которая могла бы донести весть о его гибели до наших берегов. Мы часто видим в этих водах корабли, идущие из Италии, но они никогда не доходят до гаваней Леванта, а корабли, которые отплывают из Греции, никогда не доходят до наших островов. Не сомневайтесь, синьор граф, ужасный пират в красном тюрбане, блуждающий тут между отмелей и прозванный рыбаками мыса Ацио ускоком, и есть настоящий ускок, чистопородный убийца и кровопийца.

— Ускок ли главарь бандитов, с которым я сегодня встретился, или он иной породы, — заметил молодой граф, — но руку я ему отдал на венецианский, как говорится, лад. Сперва мне показалось, что он решил либо взять мою жизнь, либо отдать свою, однако рана эта заставила его отступить, и непобедимый обратился в бегство.

— А действительно ли он бежал? — спросил Соранцо с поразительным безразличием. — Не кажется ли вам, что он скорее отправился за подмогой? Что до меня, то я полагаю, ваша милость правильно поступили, приведя свою галеру под защиту нашей, ибо в настоящий момент пираты — это ужасный и неизбежный бич.

— Удивляет меня, — сказал Эдзелино, — что мессер Франческо Морозини, зная, как велика беда, еще ничего не предпринял, чтобы с ней справиться. Не понимаю, как это адмирал, зная о понесенных вашей милостью значительных потерях, еще не прислал галеры взамен той, что вами утрачена, дабы вы имели возможность одним ударом покончить с этим ужасным разбоем.

Орио слегка пожал плечами и, приняв настолько пренебрежительный вид, насколько это допускала его нарочито изысканная учтивость, сказал:

— Даже если бы адмирал прислал сюда целую дюжину галер, они ничего не смогли бы поделаться с неуловимым противником. И сейчас у нас было бы вполне достаточно средств для того, чтобы с этими людьми покончить, если бы мы находились в положении, при котором могли использовать свои силы. Но когда мой достойный дядя послал меня сюда, он не предвидел, что я окажусь пленником посреди отмелей и не смогу маневрировать в мелководье, где способны быстро передвигаться только небольшие суда. Мы здесь можем делать только одно — выходить в открытое море и плавать в водах, где пираты никогда не осмелятся нас дожидаться. Совершив свой налет, они исчезают, словно чайки. А для того чтобы преследовать их среди рифов, надо не только владеть трудным искусством кораблевождения в этих условиях, им очень хорошо знакомых, но и быть оснащенными, как они, то есть иметь целую флотилию шлюпок и легких каиков, и вести против них такую же партизанскую войну, какую они ведут против нас. Уж не думаете ли вы, что это пустяковое дело и что можно легко и просто захватить целый вражеский рой, который нигде не оседает?

— Может быть, ваша милость и смогли бы, если бы очень пожелали, — молвил Эдзелино с какой-то скорбной горячностью. — Разве вам не привычно всегда одерживать успех в любом предприятии?

— Джованна, — молвил Орио с улыбкой, в которой сквозила горечь, — эта стрела направлена против тебя, хотя и через мою грудь. Молю тебя, будь не такой бледной и не такой грустной; ведь наш друг, благородный граф, подумает, что это я не даю тебе выказывать ему дружеские чувства, которые ты должна к нему питать и действительно питаешь. Но, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, — добавил он самым любезным тоном, — поверьте, дорогой граф, что я вовсе не сплю среди опасностей и не забываю о деле у ног красавицы. Пираты скоро увидят, что я не терял времени, что я основательно изучил их тактику и обследовал их логова. Да, благодаря богу и моей славной лодчонке я сейчас лучший лоцман Ионического архипелага, и... — Тут Соранцо стал озираться по сторонам, словно опасаясь, не подслушивает ли какой-нибудь болтливый слуга. — Но вы сами понимаете, синьор граф, что мои намерения должны оставаться в строжайшей тайне. Неизвестно, какие связи могут иметь пираты

здесь, на острове, с рыбаками и мелкими торговцами, что привозят нам из Мореи и Этолии съестные припасы. Достаточно какой-нибудь неосторожности со стороны верного, но неумного слуги, чтобы наши бандиты оказались своевременно предупрежденными и скрылись, а я очень заинтересован в том, чтобы они оставались нашими соседями, ибо — могу в том поклясться — нигде в другом месте на них не устроят такой облавы и не поймают так верно в их же собственные сети.

Сидевшие за столом с самыми разнообразными чувствами слушали эти признания. Лицо Джованны прояснилось, словно прежде она опасалась, не вызваны ли отлучки и мрачные заботы ее мужа какой-либо зловещей причиной, а теперь с груди у нее свалилась тяжесть. Леонцио довольно глупо возвел очи к небу и принялся выражать свой восторг громкими восклицаниями, которые внезапно прекратил холодный и строгий взгляд Соранцо. Что касается Эдзелино, то он разглядывал поочередно трех своих сотрапезников, переводя взгляд с одного на другого, стараясь разобраться в том, чего в их взаимоотношениях он не мог себе объяснить. Ничто в поведении Соранцо не оправдывало произвольного утверждения коменданта, будто поведение это объясняется помрачением рассудка. Но, с другой стороны, ни в выражении лица Соранцо, ни в его речах, ни в его манерах не было ничего, способного внушить молодому графу доверие и симпатию. Он не мог оторвать взгляд от глаз этого человека, якобы колдовских глаз, и находил их очень красивыми и по форме и по удивительной прозрачности, но в то же время усматривал в них какое-то трудно объяснимое выражение, которое все меньше и меньше нравилось ему. В этом взгляде была смесь наглости и трусости. Порой он метил прямо в лицо Эдзелино, словно стремясь повергнуть его в трепет, но если этот расчет не оправдывался, взгляд становился робким, словно у юной девицы, или начинал блуждать по сторонам, как у человека, захваченного с поличным. Разглядывая Соранцо, Эдзелино заметил, что он ни разу не сделал движения своей правой рукой, которую скрывал на груди. Соранцо с изящной, великолепной небрежностью опирался на левый локоть, но другую руку почти по самый локоть прятал в широких складках роскошного, шелкового, шитого золотом кафтана в восточном вкусе.

В уме Эдзелино промелькнула какая-то неясная мысль.

— Ваша милость ничего не едите? — спросил он почти резко.

Ему показалось, что Орио смутился. Однако же тот уверенно ответил:

— Ваша милость изволите проявлять ко мне чрезмерное внимание. В это время я никогда не ем.

— Вы, кажется, нездоровы, — продолжал Эдзелино, глядя на него очень пристально и не отводя глаз.

Эта настойчивость явно смутила Орио.

— Вы слишком добры, — ответил он с какой-то горечью. — Морской воздух меня очень возбуждает.

— Но у вашей милости, если не ошибаюсь, ранена эта рука? — спросил Эдзелино, уловив непроизвольный взгляд, который Орио бросил на свою правую руку.

— Ранена?! — тревожно вскричала Джованна, привстав с места.

— Да бог мой, синьора, вы же это отлично знаете, — ответил Орио, бросая ей один из тех взглядов, которых она так боялась. — Вы уже месяца два видите, что эта рука у меня болит.

Джованна, бледная как смерть, упала на свой стул, и Эдзелино прочел на ее лице, что она прежде ни слова не слышала об этой ране.

— Давно вы получили рану? — спросил он тоном безразличным, но весьма твердым.

— Во время патрасского дела, синьор граф.

Эдзелино обратил свой взгляд на Леонцио. Тот склонил голову над стаканом и, казалось, поглощен был смакованием превосходного кипрского вина. Граф нашел, что ведет он себя так, словно что-то скрывает, а то, что в нем прежде казалось недалекостью, стало очень походить на двуличие.

Граф продолжал ставить Орио в трудное положение.

— Я не слышал, что вы были тогда ранены, — заговорил он снова, — и радовался, что среди стольких бедствий хоть это вас минуло.

Лицо Орио в конце концов вспыхнуло гневом.

— Прошу прощения, синьор граф, — произнес он с иронией, — что забыл послать к вам нарочного с извещением о беде, которая, видимо, волнует вас больше, чем меня самого. Я, можно сказать, женат в полном смысле этого слова, раз мой соперник стал мне лучшим другом.

— Не понимаю этой шутки, мессер, — ответила Джованна тоном достойным и твердым, несмотря на ее физически и морально угнетенное состояние.

— Ты нынче что-то уж очень щепетильна, душа моя, — сказал Орио с насмешливым видом и, протянув над столом свою левую руку, завладел рукой Джованны и поцеловал ее.

Этот иронический поцелуй подействовал на нее, как удар кинжалом. По щеке ее скатилась слеза.

«Негодяй, — подумал Эдзелино, видя, как нагло обходится с женой Орио. — Подлец, отступающий перед мужчиной и наслаждающийся мукой женщины».

Он был до такой степени во власти негодования, что не в состоянии оказался это скрыть. Приличие предписывало ему не вмешиваться в споры между супругами. Но лицо его так ясно выражало кипящие в нем чувства, что Соранцо вынужден был обратить на это внимание.

— Синьор граф, — заметил он, стараясь казаться хладнокровным и высокомерным, — вы, часом, не увлекаетесь живописью? Вы созерцаете меня так, словно хотите написать мой портрет.

— Если ваша милость разрешаете мне сказать, почему я на вас так смотрю,

— живо ответил граф, — я охотно это сделаю.

— Моя милость, — насмешливо произнес Орио, — смиренно умоляет вашу высказаться.

— Что ж, мессер, — продолжал Эдзелино, — признаюсь вам, что действительно немного занимаюсь живописью и в настоящий момент меня просто поражает удивительное сходство вашей милости...

— С кем-либо из лиц, изображенных на фресках этого зала? — прервал Орио.

— Нет, мессер, с главарем пиратов, которые повстречались мне сегодня днем, с тем самым ускоком, раз уж приходится его назвать.

— Клянусь святым Феодором! — вскричал Соранцо дрожащим голосом, словно ужас или гнев сдавили ему горло. — Неужто вы завели со мной подобные речи, синьор, чтобы оскорбительным вызовом ответить на мое гостеприимство? Говорите же, не стесняясь.

В то же время он пытался пошевелить рукой, спрятанной на груди, словно хватаясь инстинктивным движением за ножны шпаги.

Но он был безоружен, а рука его словно налилась свинцом. Да и Джованна, опасаясь яростной вспышки, вроде тех, при которых она слишком часто присутствовала, когда Орио гневался на кого-либо из своих подчиненных, в ужасе метнулась к нему и схватила его за руку. При этом она, видимо, коснулась его раны, так как он в бешенстве грубо оттолкнул ее с ужасным, богохульным проклятием. Она почти упала на грудь Эдзелино, который, в свою очередь, уже готов был яростно броситься на Орио, когда тот, побежденный болью, впал в полуобморочное состояние и замер на руках своего арабского пажа.

Все это было делом одного мгновения; Орио что-то сказал мальчику на его языке, и тот, налив кубок вина, поднес его ко рту господина и заставил его отпить. К Орио тотчас же вернулись силы, и он стал лицемерно извиняться перед Джованной за свою вспыльчивость. Извинился он и перед Эдзелино, уверяя, что столь частые приступы гнева даже он сам не может объяснить себе иначе, как страданиями, которые испытывает.

— Я уверен, — сказал он, — что ваша милость не могли иметь намерения оскорбить меня, найти во мне сходство с разбойником-ускоком.

— С эстетической точки зрения, — едко ответил Эдзелино, — это сходство может быть только лестным. Я хорошо разглядел усюка: это настоящий красавец.

— И смельчак! — ответил Соранцо, осушая кубок до дна. — Дерзкий наглец, который насмехается надо мной под самым моим носом. Однако вскоре я с ним померюсь силами, как с достойным противником.

— Нет, мессер, — продолжал Эдзелино, — позвольте не согласиться с вами. Вы на войне показали пример доблести, а этот усюк сегодня показал себя передо мной трусом.

Орио чуть вздрогнул. Затем он протянул свой кубок Леонцио, который с почтительным видом налил его до краев, сказав при этом:

— В первый раз за всю свою жизнь слышу я, что этого усюка упрекнули в трусости.

— А вы-то что городите? — произнес Орио с презрительной насмешкой. — Вы восхищаетесь подвигами усюка? Пожалуй, вы бы охотно взяли его себе в друзья и собратья? Вот уж благородная симпатия воина!

Леонцио явно смутился. Но Эдзелино, не склонный отступаться, снова вмешался в разговор:

— Я считаю, что симпатия эта была бы незаслуженной. В прошлом году в Лепантском заливе мне пришлось иметь дело с миссолунгскими пиратами, которые дали искрошить себя на куски, только бы не сдаваться. А сегодня этот грозный ускок отступил из-за одной раны и трусливо бежал, завидев свою кровь.

Рука Орио судорожно сжала кубок. Но араб отобрал его у своего господина в тот момент, когда тот подносил его ко рту.

— Это еще что?! — грозным голосом вскричал Орио. Но, обернувшись и узнав Наама, он смягчился и даже рассмеялся.

— Видите, верный сын пророка хочет спасти меня от смертного греха! Впрочем, — добавил он, поднимаясь с места, — он оказывает мне услугу. Вино мне вредит, оно только раздражает эту проклятую рану, что уже два месяца не может затянуться.

— Я немного знаком с хирургией, — сказал Эдзелино, — многим из моих друзей я залечил раны и очень помог им на войне, вызволив их из рук коновалов. Если вашей милости угодно будет показать мне рану, я, несомненно, смогу дать вам хороший совет.

— Ваша милость можете похвалиться разнообразнейшими познаниями и неутомимой преданностью друзьям, — сухо ответил Орио. — Но руку мне отлично лечат, и скоро она будет в состоянии защитить своего обладателя от любых злонамеренных намеков, от любого клеветнического обвинения.

С этими словами Орио встал и, повторив свое предложение оказать помощь Эдзелино тоном, который на этот раз словно предупреждал, что предложение делается только для вида, спросил графа, каковы его планы на завтрашний день.

— Я намереваюсь, — ответил тот, — с рассветом взять курс на Корфу и весьма благодарен вашей милости за предложение об эскорте. Сопровождать меня не нужно: я не опасаюсь нового нападения пиратов. Сегодня я увидел, на что они способны, и поскольку я их узнал, могу с ними не считаться.

— Во всяком случае, — сказал Соранцо, — вы окажете мне честь, если переночуете здесь, в замке. Для вас приготовлено мое личное помещение...

— Нет, мессер, это невозможно, — ответил граф. — Я считаю своей обязанностью ночевать на корабле, когда плаваю на галерах республики.

Орио тщетно настаивал. Эдзелино счел своим долгом не уступать. Он попросился с Джованной, и когда он целовал ей руку, она тихо сказала ему:

— Не забывайте моего сна, будьте осторожны, берегитесь. — А затем громко добавила: — Передайте Арджирии все, о чем я вас просила.

То были последние слова, которые Эдзелино услышал из ее уст. Орио пожелал проводить его до башенных ворот и велел офицеру с отрядом солдат сопровождать его в шлюпке на галеру. После выполнения всех этих формальностей, когда граф уже поднимался на свой корабль, Орио Соранцо дотронулся до своих покоев и бросился на кровать, изнемогая от усталости и боли.

Наам старательно заперла все двери и принялась лечить и перевязывать его раздробленную руку.

Аббат остановился, утомившись от столь долгого рассказа. Зузуф, в свою очередь, взял слово и, ведя повествование на несколько более быстрый лад, продолжал историю ускока в таких приблизительно выражениях:

— Оставь меня, Наам, оставь меня! Без толку станешь ты тратить на эту проклятую рану соки всех драгоценных трав Аравии и тщетно будешь нашептывать таинственные каббалистические слова, которые тебе открыла какая-то неведомая наука. Всю мою кровь лихорадит, лихорадит отчаянием и яростью. Подумать только! После того как этот негодяй искалечил меня, он еще осмеливается бросать мне в лицо оскорбительную иронию! А сам я лишен возможности покарать его за наглость, отнять у него жизнь и по локоть омыть руки в его крови! Только это лекарство излечило бы мою рану, сбilo бы мою лихорадку!

— Друг, успокойся, отдохни, если не хочешь умереть. Видишь, мои заговоры действуют. Кровь из моих собственных жил, которую я влила в этот кубок, уже подчиняется священным словам, закипает, дымится! Теперь я обмажу ею твою рану...

Соранцо позволяет лечить себя послушно, как ребенок, — он ведь боится смерти, которая положит конец его замыслам и лишит его всех богатств. Правда, порою он с львиной храбростью бросает ей вызов, но лишь тогда, когда борется за то, чтобы умножить свое достояние. В его глазах жизнь без роскоши и изобилия — ничто, и если бы в дни бедствий и неудач голос рока объявил ему, что он обречен на вечную нищету, его же собственная воля сбросила бы с высоты крепостной башни в черные глубины моря это холеное тело, для которого все благовония Азии недостаточно изысканны, все смирские ткани недостаточно пышны и мягки.

Но вот аравитянка перестала произносить свои заговоры, и Соранцо торопит ее идти с его поручением.

— Ступай, — говорит он ей, — будь стремительной, как мое желание, твердой, как моя воля. Передай Гусейну это кольцо, оно облакает тебя моей властью. Вот мои повеления: я хочу, чтобы еще до рассвета он находился у самой оконечности Натолики, в том месте, которое я указал ему сегодня утром. Пусть его четыре каика ожидают там благоприятного момента для нападения. Пусть ренегат Фремио станет со своей шлюпкой возле Аистиных пещер, чтобы ударить на неприятеля с фланга, и пусть албанская тартана, хорошо оснащенная своими камнеметами, держится там, где я ее оставил, и загораживает выход из отмелей. Венецианец выйдет из нашей бухты с наступлением дня, через час после восхода солнца его уже увидят пираты. Через два часа после восхода должна начаться его схватка с Гусейном, а через три — пираты должны одержать победу. И скажи ему еще вот что: если эта добыча от них ускользнет, через неделю здесь будет Морозини с целым флотом, ибо венецианец подозревает меня и, несомненно, обвинит в измене. Если он доберется до Корфу, через две недели не останется ни одной скалы, где пираты смогли бы прятать свои баркасы, ни одной береговой полосы, которую они осмелились бы отметить следом своей ноги, ни одной рыбацкой хижины, где они смогли бы укрыть свою голову. А главное — скажи ему следующее: если они сохранят жизнь хоть одному венецианцу с этой галеры и если Гусейн, рассчитывая на богатый выкуп, согласится увести их начальников в плен, мой с ним союз будет тотчас же разорван и я сам стану во главе морских сил республики, чтобы уничтожить его и весь его род. Он знает, что все хитрости его ремесла

мне известны лучше, чем ему самому, знает, что без меня он не в состоянии ничего сделать. Пусть же он поразмыслит над тем, что он смог бы против меня предпринять, и пусть вспомнит, чего ему надо бояться! Ступай! Скажи ему, что я буду считать часы, минуты. Когда он завладеет галерой, пусть даст три пушечных выстрела, чтобы оповестить меня, а затем пусть он ее потопит, предварительно обобрав дочиста... Завтра вечером пусть он явится сюда и даст мне отчет. Если он не предъявит мне убедительного доказательства смерти венецианского начальника — снятую с него голову, — я велю его повесить на зубцах моей главной башни. Ступай! Такова моя воля. Не опусти ни единого слова... Да будет трижды проклят мерзавец, выведший меня из строя! А впрочем, неужто не хватит у меня сил добраться до лодки? Помоги мне, Наам! Только я почувствую, как меня покачивает на волне, силы ко мне вернуться! У этих проклятых пиратов ничего не получается, когда меня нет с ними...

Орио пытается дотащить до середины комнаты; зубы его стучат от лихорадочной дрожи, все предметы видоизменяются перед его блуждающим взором, и каждое мгновение ему представляется, будто все четыре угла его комнаты вот-вот набросятся на него и зажмут его голову в тиски.

И, однако, он упорствует, пытаюсь дрожащей рукой отодвинуть запор потайной двери. Колени его подгибаются, Наам обнимает его обеими руками и, поддерживая силой своей преданности, подводит к кровати и снова укладывает на нее. Затем она засовывает за пояс два пистолета, проверяет лезвие кинжала и заправляет светильник. Она совершенно спокойна, ибо знает, что выполнит поручение или сложит свою голову. Верная поклонница Мухаммеда, она знает, что все судьбы уже записаны на небесах и что люди сами по себе ничего не могут, если рок заранее насмеялся над их расчетами.

Орио мечется на своем ложе. Наам поднимает дамасский ковер, скрывающий от всех подвижную плиту на беззвучных шарнирах. Она начинает спускаться по крутой извилистой лестнице, первые ступени которой сложены из цементированных камней, а дальше, уже в недрах скалы, выбиты в самом граните. Соранцо зовет ее обратно в тот миг, когда она уже готова углубиться в узкие галереи, где двоим не разойтись и где воздуха так мало, что ужас охватил бы душу менее закаленную. Голос Соранцо так слаб, что едва доносится сюда, и

услышать его может только Наам, чей слух обострен недремлющим вниманием сердца и ума. Наам быстро поднимается по ступенькам и, наполовину высунувшись из люка, ожидает новых распоряжений господина.

— Перед тем как вернуться на остров, — говорит он ей, — ты разыщешь в бухте командира галеры. Передашь ему, чтобы на рассвете он увел корабль к противоположной оконечности острова и двинулся на юг, в открытое море. Пусть он там остается до вечера, не приближаясь к отмелям, какой бы шум до него ни доносился. Сигнал к возвращению я подам ему пушечным выстрелом из крепости. Ступай, не медли, и да хранит тебя аллах!

Наам снова исчезает в извилистом подземелье. Она проходит потайные галереи; из погреба в погреб, с лестницы на лестницу она добирается наконец до узкого выхода, устрашающего прямоугольного отверстия, словно повисшего между небом и морской пучиной, куда ветер врывается с резким свистом; рыбаки принимают его издали за недоступную расщелину, где только морские птицы могут искать убежища в бурю. В углу пещеры Наам берет веревочную лестницу и привязывает ее к железным кольцам, вделанным в скалу. Затем она тушит пламя светильника, мечущееся во все стороны по воле ветра, снимает свою одежду из персидского шелка и белоснежный муслиновый тюрбан. Она надевает грубую матросскую куртку и прячет волосы под ярко-красным колпаком маниота. Наконец с ловкостью и силой пантеры она повисает на лестнице вдоль оголенного гладкого склона отвесной скалы и спускается на площадку, расположенную пониже, над уровнем моря, и выступающую вперед сводом нижней пещеры, затопляемой морем в бурную погоду, но совершенно сухой в тихую. Через широкую щель в этом своде Наам спускается в грот и выходит на берег, навстречу пенящемуся прибою. Ночь темная, дует сильный западный ветер. Она достает из-за пазухи серебряный свисток и издает резкий свист, которому вскоре отвечает такой же звук. Проходит всего несколько секунд, и вот лодка, скрытая в другой пещере той же скалы, скользнув по волнам, приближается к ней.

— Ты один? — спрашивает ее по-турецки матрос, правящий лодкой вместе с другим.

— Один, — отвечает Наам. — Но вот кольцо господина. Повинуйтесь и доставьте меня к Гусейну.

Матросы поднимают треугольный парус. Наам прыгает в лодку, которая быстро отчаливает. Синьора Соранцо выглядывает в окно, — она смутно расслышала плеск весел и неясные голоса. Борзой глухо и злобно рычит.

«Это Наам, он один, — говорит про себя прекрасная женщина. — Хорошо, что Соранцо хоть в эту ночь спит под одной крышей со своей печальной подругой. — Тревога снедает ее. — Он ранен, он страдает, он, может быть, чувствует себя одиноким! Неразлучный слуга покинул его нынче ночью. Если я тихо подойду к его дверям, то услышу его дыхание. Узнаю, спит ли он. А если его донимает боль, если он тоскует в темноте и одиночестве, может быть он не отвергнет моих услуг».

Она заворачивается в длинное белое покрывало и, словно тревожная тень, словно легкий лунный луч, неслышно скользит по коридорам замка. Ей удается обмануть бдительность часовых, охраняющих дверь башни, где помещается Орио. Она знает, что Наам отсутствует — Наам, единственный страж, никогда не засыпающий на посту, единственный, которого нельзя соблазнить посулами, склонить мольбами, утратить угрозами.

Она добралась до двери покоев Орио, не пробудив ни малейшего отзвука на гулких плитах коридора, не коснувшись своим покрывалом стен, плохо хранящих тайну. Она прислушивается, сердце ее стучит так, словно хочет вырваться из груди, но она задерживает дыхание. Дверь Орио вернее, чем целый полк солдат, охраняет внушаемый ее повелителем страх. Джованна слушает, готовая бежать при малейшем шуме. Раздается голос Соранцо, зловещий среди полночного мрака и безмолвия. Страх выдать себя поспешным бегством приковывает дрожащую венецианку к порогу мужниного покоя. Соранцо

— во власти призраков тревожного сна. В этих бредовых сновидениях он что-то говорит — смятенно, яростно. Может быть, его прерывистые речи открыли какую-то страшную тайну? Джованна в ужасе бежит, возвращается в свою комнату и взбудораженная, полумертвая падает на диван. Так лежит она до утра, мучимая зловещими снами.

Между тем неясная, еще светлая черта проходит через широкий саван ночи и начинает отделять на горизонте небо от моря. Орио немного успокоился, он поднимает голову с подушки. Он еще борется со своими лихорадочными видениями, но воля его одолевает их, а заря прогонит совсем. Понемногу к нему возвращается память, и наконец он соприкасается с действительностью.

Он зовет Наам. Но лишь мандора юной аравитянки, висящая на стене, отвечает меланхолической вибрацией струн на зов господина.

Орио раздвигает тяжелые занавески кровати, спускает ноги на ковер, беспокойно озирает комнату, где едва брезжит утренний свет. Подъемная дверь на месте, Наам еще не возвращалась.

Тревога одолевает его, он собирается с силами, приподнимает подъемную дверь, спускается по ступенькам, ощущая прилив энергии, оттого что движется и действует. Вот он уже у выхода из внутренних, пробитых в скале галерей — там, где Наам оставила часть своей одежды и веревочную лестницу, еще привязанную к железным крючьям. Он с беспокойством озирает морскую гладь; выступающий угол скалы скрывает от него ту часть моря, которую он хотел бы обозреть. Следовало бы спуститься по веревочной лестнице, но очень уж опасно идти на это с раздробленной рукой. К тому же почти рассвело, и часовые, пожалуй, заметят его и обнаружат этот способ сообщения с морем, известный лишь ему и очень доверенным людям. Орио испытывает все муки ожидания. Если Наам попала в какую-нибудь ловушку, если она не смогла передать его распоряжений Гусейну, то Эдзелино спасен, а он, Соранцо, погиб! А что, если Гусейн, узнав о ране, выведшей Орио из строя, изменит ему, продаст республике его тайну, его честь, его жизнь? Но внезапно Орио видит, как оставшаяся у него тяжелая галера выходит на всех парусах из бухты, держа курс на юг. Наам выполнила поручение! Он уже не думает о ней, он убирает веревочную лестницу и возвращается в свою комнату, где его встречает Наам. Радость от успеха помогает Орио изобразить страстную нежность — он прижимает девушку к своей груди, заботливо расспрашивает обо всем.

— Все будет сделано, как ты велел, — говорит она. — Но ветер все время дует с запада, и Гусейн ни за что не отвечает, если он не переменится. Ибо галера быстрее его кайков; они не смогут

преследовать ее, не выйдя в открытое море и не подвергнув себя опасности встреч с военными кораблями, а это было бы роковым.

— Гусейн городит вздор, — раздраженно возразил Орио, — не знает он венецианской гордыни. Эдзелино не обратится в бегство, он пойдет ему навстречу, устремится в самое опасное место. Ведь голова у него забита глупейшими представлениями о чести! Впрочем, ветер переменится с восходом солнца и будет дуть до полудня.

— Господин, не похоже на это, — отвечает Наам.

— Гусейн просто трус! — гневно восклицает Орио.

Они оба поднимаются на верхнюю площадку башни. Галера графа Эдзелино уже вышла из бухты, легко и быстро устремляясь на север. Но вот из-за моря вылезает солнце, и ветер действительно меняется. Теперь он изо всех сил дует со стороны Венеции, отбрасывая и волны и корабли на отмели Ионического архипелага. Галера Эдзелино замедляет ход.

— Эдзелино, ты погиб! — в порыве радости восклицает Орио.

Наам вглядывается в горделивое лицо своего господина. Она спрашивает себя, уж не повелевает ли этот дерзновенный человек стихиями, и ее слепая преданность беспредельна.

О, как медленно текли часы в этот день для Соранцо и его верной рабыни! Орио так точно рассчитал, сколько времени нужно для того, чтобы галера встретила с пиратами, и сколько времени понадобится миссолунгцам для их маневров, что битва началась в предписанный им час. Сперва Орио ничего не слышал, так как Эдзелино не стрелял по каикам из пушек. Но когда на него напали тартаны, когда он увидел, что ему придется вести борьбу против двухсот пиратов всего с шестьюдесятью матросами, ранеными или утомленными вчерашней схваткой, он стал пользоваться всеми средствами, имеющимися в его распоряжении.

Бой был яростный, но недолгий. Что могло поделать самое отчаянное мужество против превосходящих сил, а главное — против судьбы! Орио услышал канонаду. Он рванулся, словно тигр в клетке, и впился пальцами в башенные зубцы, чтобы удержаться от головокружительного порыва, грозившего сбросить его вниз. В левой руке он сжимал руку Наам и судорожно стискивал ее каждый раз, когда глухой раскат пушечного выстрела долетал, ослабевая, до его слуха. Внезапно наступило безмолвие, ужасное, необъяснимое, и пока

оно длилось, Наам начала уже опасаться, не сорвались ли все планы ее господина.

Солнце поднималось все выше, сияющее, спокойное. Море было таким же чистым, как небо. Битва происходила между двух последних островов, к северо-востоку от Сан-Сильвио. Гарнизон крепости удивляли и пугали ее зловещие отзвуки. Кое-кто из унтер-офицеров и храбрых матросов выражал желание отправиться в лодках на разведку. Орио передал им через Леонцио, что запрещает это под страхом смерти. Наконец шум стих. Наверное, галера Эдзелино под защитой северо-восточного острова победоносно летела к Корфу. Не могло же так хорошо вооруженное и так храбро защищаемое, отличное парусное судно попасть за столь короткий промежуток времени в руки пиратов! Никто уже больше не тревожился о его судьбе, и никто, кроме губернатора и его молчаливого верного спутника, не думал о нем. Они все еще склонялись над зубцами башни. Солнце поднималось выше и выше, и ничто не прерывало тишины.

Наконец, в пятом часу дня, раздались три условных выстрела.

— Дело сделано, господин! — произнесла Наам. — Красавца Эдзелино нет в живых.

— Два часа на то, чтобы обчистить корабль! — сказал Орио, пожимая плечами. — Скоты! Что бы они сделали без меня? Ничего. Но теперь пусть поразит их гром, пусть сметут их венецианские пушки, пусть поглотит их морская пучина! Я с ними покончил. Они избавили меня от Эдзелино. Урожай убран!

— Теперь, господин, тебе надо вернуться к жене. Она совсем больна. Говорят, она при смерти. Вот уже два часа, как она зовет тебя. Я много раз говорила тебе об этом, но ты меня не слушал.

— Ты говоришь: не слушал! Да, уж могу сказать, у меня мысли были заняты делами поважнее, чем бредни ревливой женщины! Что ей нужно?

— Господин, ты должен уступить ее просьбам. Аллах гневается на человека, пренебрегающего законной супругой, еще больше, чем на того, кто плохо обращается с верным рабом. Мне ты был добрым господином, будь же добрым супругом для твоей венецианки. Так надо, пойдём...

Орио уступил. Одной лишь Наам удавалось хоть изредка заставить Орио уступить.

Джованна лежит на своем диване недвижимая, словно окаменевшая. Щеки ее мертвенно-бледны, губы холодны, дыхание горячее. Но она оживает, услышав голос Наам, забрасывающей ее ласковыми расспросами, покрывающей ей руки братскими поцелуями.

— Сестра моя Дзоана, — говорит ей юная аравитянка на своем непонятном Джованне языке, — опомнись, не предавайся до такой степени отчаянию. Супруг твой возвращается к тебе, и никогда твоя сестра Наам не попытается похитить у тебя его любовь. Так велит пророк, и среди сотен женщин, из которых я была самой любимой, ни одна не смогла бы пожаловаться на то, что господин оказывал мне слишком уж явное предпочтение. У Наам всегда было великодушное сердце, и как ее права уважались в земле правоверных, так и она уважает чужие в земле христиан. Ну же, сделай себе снова прическу, надень свои самые пышные уборы: ведь любовь мужчины — одна гордыня, его пыл разгорается, когда жена старается казаться ему красивой. Утри слезы, они тушат блеск глаз. Если бы ты дала мне подвести тебе брови на турецкий лад и уложить на плечах покрывало, как принято у персиянок, Орио снова возжелал бы тебя. Вот и Орио. Возьми свою лютню, а я зажгу благовония в твоей комнате.

Джованна не понимает этих простодушных речей. Но сладостная мелодичность арабских слов, ласковая сострадательность рабыни понемногу возвращают ей мужество. Не понимает она и величия души своей соперницы, ибо продолжает принимать ее за юношу. Но это не мешает ей растрогаться ее добрыми чувствами, и она старается как-то ответить на них, сбросив с себя оцепенение. Входит Орио. Наам хочет удалиться, но Орио велит ей остаться: он боится поддаться еще не окончательно умершему в нем чувству к Джованне, которое заставило бы его выслушивать ее упреки или возродить в ней надежду. И все же он вынужден с нею считаться, — ведь она может добиться от Морозини чего угодно. Орио боится ее и поэтому, даже умиляясь ее нежностью и красотой, не может не испытывать к ней своего рода ненависти.

Но на этот раз Джованна другая — не робкая, не умоляющая. Она лишь печальнее, чем раньше, и чувствует себя еще хуже.

— Орио, — говорит она ему, — я думаю, что, несмотря на отказ графа Эдзелино, тебе следовало бы дать ему охрану до выхода в открытое море. Боюсь, как бы с ним не случилось беды. Вот уже два дня меня томят зловещие предчувствия. Не смейся над таинственными предупреждениями, которые посылает мне провидение. Пошли свою галеру графу вдогонку, если еще не поздно. Подумай, я ведь даю тебе этот совет не только ради него, но и в твоих собственных интересах. Республика спросит с тебя за его гибель.

— Можно узнать у вас, синьора, — холодно отвечает Орио, глядя ей прямо в лицо, — что это за предчувствия, о которых вы мне говорите, и на чем основаны ваши опасения?

— Ты хочешь, чтобы я тебе о них рассказала, а отнесешься к ним с пренебрежением, как к пустым бредням суеверной женщины. Но мой долг открыть тебе ужасные предупреждения, посланные мне свыше. Если ты ими не воспользуешься...

— Говорите, синьора, — серьезно произнес Орио, — видите, я слушаю вас с уважением.

— Так вот, знайте, что через несколько мгновений после того, как на часах пробило три пополудни, я увидела, как в мою комнату вошел граф Эдзелино, весь окровавленный, в разорванной одежде. Я видела его очень ясно, мессер, он сказал мне слова, которых я не стану повторять, но которые еще звучат у меня в ушах. Затем он исчез, растаяв в воздухе, как исчезают призраки. Но готова поспорить, что в тот самый миг, когда он явился мне, он лишился жизни или же попал в какую-то роковую беду. Ибо вчера, в то время, когда на него напали пираты, я видела во сне, как ускок поднял над ним свой ятаган, а затем бежал с перебитой рукой, разразившись ужасными проклятиями.

— Что означают ваши так называемые видения, синьора, и какие подозрения скрываются за всеми этими аллегориями?

Так говорит Орио громовым голосом, гневно поднимаясь с места. Наам устремляется к нему и хватает его за полу одежды. Она не понимает сказанных им слов, но видит в его мечущих искры глазах ненависть и угрозу. Орио овладевает собой, — эта вспышка может выдать его, подтвердить подозрения Джованны. Впрочем, Джованна совершенно спокойна и впервые в жизни с невозмутимым видом встречает гневный порыв Орио.

— Я требую, чтобы ты повторила мне эти грозные слова, которые должны внушить мне такой ужас, — продолжает Орио с ироническим видом. — Если ты скроешь их от меня, Джованна, я стану думать, что все это женские хитрости, рассчитанные на то, чтобы посмеяться надо мной.

— Хорошо, я повторю их тебе, Орио, ибо это отнюдь не игра, а незримые силы, правящие нашими судьбами, выше всех суетных приступов гнева, которые они могут в нас вызвать. Призрак графа Эдзелино показал мне огромную, ужасную рану, из которой вытекла вся его кровь, и произнес: «Синьора, ваш супруг — убийца и предатель».

— И больше ничего?! — вскричал Орио, побледнев и дрожа от гнева. — Ваш дух слишком снисходителен к моей недостойной особе, синьора, и я удивляюсь, что призраки ваших снов говорят вам обо мне столь милые вещи. При следующем с ними свидании соблаговолите передать им мой совет: пусть они или говорят более ясно, или молчат, ибо швыряться словами — дело опасное, и призраки могут оказаться весьма ненадежными покровителями для человеческих существ, коих им угодно посещать.

С этими словами Орио удалился, уже произнеся в сердце своем приговор над Джованной.

Наступила ночь, но супруга Орио не спала предыдущей ночью и не знала покоя в течение всего дня. Спокойствие ее — только личина, душу ей терзает неслыханная мука. Она угадала страшную правду и ни на что больше не надеется, напротив — она старается получить наглядные доказательства постигшего ее позора и несчастья.

На часах пробило полночь. Глубокое безмолвие царит на острове и в замке. Погода тихая, ясная, море не шелохнется. Джованна — у своего потаенного окна. Она слышит, как к подножию скалы подплывает лодка. Она видит на берегу темные фигуры, ей кажется, словно какие-то черные пятна равномерно передвигаются по белому песку. Это не Орио и не Наам, — борзой ведь прислушивается, но не подает никаких признаков любви или ненависти. Лодка удаляется, но тени, вышедшие из нее, исчезли, словно их поглотили недра скалы.

На этот раз воздух так прозрачен и море так спокойно, что до слуха Джованны долетает малейший звук. Железные кольца слабо звякнули о крючья, веревочная лестница скрипнула под тяжестью

человеческого тела. Сверху раздался осторожный оклик, снизу ответили приглушенные голоса. И сверху и снизу обменялись условными сигналами — неискусным подражанием крику ночной птицы. И снова все смолкло. Глаз не в состоянии ничего различить: в этом месте подножие скалы уходит под нависающий выступ верхних скал. Но вдруг какие-то глухие шаги, неясные шумы послышались словно из недр земли. Джованна прижимает ухо к коврам своей комнаты. Она слышит шаги нескольких человек, проходящих где-то внизу, словно в каком-то подземелье, под самыми ее покоем. Потом снова все стихает.

Но она хочет раскрыть тайну до конца и на этот раз обратиться за разъяснениями не к своему пророческому дару, не к небесным вещаниям сновидений, а к свидетельству своих чувств. Теперь она и не думает о том, чтобы скрыться под покрывалом, — пусть ее узнают, пусть с ней обойдутся грубо. Полураздетая, растрепанная, не соблюдая никакой осторожности, она бежит по коридорам, по лестницам, устремляясь к башне, где живет Соранцо. Теперь ей уже чужды и стыд оскорбленного самолюбия, и робкая, женская покорность, и даже страх смерти. Она хочет знать, хотя бы ценою смерти. Однако Орио дал строжайший приказ часовым не спускать глаз с его дверей и никому не давать к ним доступа. Но люди с нечистой совестью всегда боятся ужасов ночи. Страж, видя, что к нему так смело приближается эта женщина с разметавшимися волосами, с решимостью отчаяния во взгляде, принимает ее за призрак и падает ниц: за несколько дней до того этот человек зарезал на захваченном торговом галиоте красивую молодую женщину с двумя маленькими детьми на руках. Ему чудится, что она явилась сюда, ему кажется, что он слышит ее жалобный голос: «Верни мне моих малюток!».

— У меня их нет, — отвечает он сдавленным голосом, катаясь по каменным плитам пола.

Джованна не обращает на него внимания, — равнодушная к любой опасности, она переступает через его тело и проникает в комнату Орио. Там никого нет, но на мраморном столе стоят зажженные светильники. Посредине комнаты — открытый люк. Джованна тщательно закрывает дверь, через которую она вошла, и

прячется за завесу окна, ибо до нее уже доносятся голоса и шаги — кто-то поднимается по подземному ходу.

Первым появляется Орио, за ним — трое мусульман гнусного вида, в грязной, запачканной кровью одежде; у одного из них сверток, который он кладет на стол. Последним поднимается юноша Наам. Он закрывает люк, затем прислоняется спиной к двери, в которую вошла Джованна, и застывает в неподвижности.

У старого Гусейна, главы миссолунгских пиратов, была длинная седая борода и изборожденное морщинами лицо, что на первый взгляд придавало ему весьма почтенный вид. Но чем больше в него вглядывались, тем сильнее изумляло выражение грубой свирепости и тупого упрямства, запечатлевшееся на этом бронзовом от загара лице. В истории морского разбоя он являлся фигурой не слишком яркой, но действовал долго и непрерывно. Когда-то он служил ускокам. Это был грабитель и убийца, но когда дело касалось дележа добычи, никто не соблюдал так свято закона справедливости и честности. Слово купца, подчиняющегося законам, установленным между нациями, не может быть вернее и тверже его слова, и он, который отрекся бы от своего пророка за горсть золота, с презрением срубил бы голову любому из своих пиратов, смошенничавшему при дележе награбленного. За справедливость и твердость он выбран был командиром четырех кайков и начальником над двумя своими сотоварищами, людьми более умелыми в морском деле, но не такими храбрыми в бою и менее строгими в соблюдении порядка. Одним из этих сотоварищей был ренегат Фремио, говоривший на почти непонятной для Джованны смеси турецкого и итальянского, человек худощавый, уже немолодой, весь облик которого свидетельствовал о изменных страстях и неумолимой жестокости, другим — албанский еврей, командир одной из тартан, все лицо его было обезображено ужасным шрамом. Оба они стали медленно разворачивать омерзительную кровавую и грязную тряпку, в которую был обернут лежащий на столе сверток. Сердце Джованны мучительно сжалось, и дрожь смертной тоски прошла по всему ее телу, когда из этого куса ткани они вынули другой — окровавленный, изрезанный ударами сабли и изрешеченный пулями. В нем она узнала куртку, которую носил накануне Эдзелино.

При виде куртки Орио стал с явным негодованием говорить что-то Гусейну. Не понимая языка, на котором он изъяснялся, Джованна

решила, что он возмущен убийством Эдзелино. Однако Орио, обернувшись к ренегату и еврею, заговорил по-итальянски:

— И это, по-вашему, залог! Вы осмеливаетесь предъявлять мне эти лохмотья как доказательство смерти того, кто их носил? Разве этого я требовал? И уж не воображаете ли вы, что меня можно провести такими грубыми уловками? Хищные псы, проклятые предатели, вы меня обманули! Вы его пощадили, чтобы получить от его семьи хороший выкуп, но вам не удастся отнять у меня эту добычу — единственное, что я от вас требовал. Я обещаю у вас все до последнего тюка, я до последней доски разберу все ваши баркасы, чтобы только найти венецианца. Мне он нужен, живой или мертвый, а если он от меня ускользнет, я пушечным ядром разнесу вас в клочья — вас и ваши жалкие посудины.

От ярости на губах Орио выступила пена. Он вырвал окровавленную куртку из рук растерявшегося ренегата, стал топтать ее ногами. В этот миг он был омерзителен и вызвал ужас и отвращение у той, которая его так любила.

Четверо убийц вступили в долгий спор, часть которого она поняла. Пираты утверждали, что Эдзелино погиб, пронзенный градом пуль, исполосованный саблями, как об этом свидетельствовала куртка. Он пал, умирающий, на тартане еврея, но тому не удалось добраться до него раньше, чем матросы перебросили тело через борт. По счастью, один из них соблазнился богатым, золотым шитьем куртки, и он сорвал ее с тела Эдзелино, прежде чем оно было брошено в море, так что еврею пришлось даже выкупить куртку, чтобы предъявить Орио это доказательство гибели его недруга.

После многочисленных гневных вспышек и яростных проклятий, которыми обменивались спорящие, Орио, пользовавшийся, видимо, огромным влиянием на своих сотоварищей, несмотря на всю их грубость и злобность, и умевший одним словом и жестом приводить их к молчанию посреди самой бешеной вспышки, как будто успокоился и удовлетворился клятвой, данной ему Гусейном. Правда, Гусейн отказался поклясться именем аллаха и его пророка, что убежден в смерти Эдзелино, ибо не видел, как его тело бросили в море, но он дал клятву, что если Эдзелино сохранили жизнь, он в этом предательстве не участвовал. Он поклялся также, что дознается до правды и сурово покарает всякого, кто ослушается ускока. Слово это

он произнес по-итальянски и, приложив обе руки ко лбу, до земли склонился перед Орио.

«Он — ускок! О Джованна, Джованна! Как не пала ты мертвой, увидев, что этот гнусный убийца, изменивший своей родине, ненасытный грабитель и свирепый истребитель людей — твой супруг, человек, которого ты так любила!» Так говорит Джованна сама с собой. Может быть, она даже произносит эти слова вслух, настолько безразлична ей сейчас смертельная опасность, настолько она утратила ощущение самой себя, вся поглощенная этой ужасной и отвратительной сценой. Разбойники были так заняты своим спором, что и не могли бы ее услышать. Они еще долго беседовали. Но Джованна уже ничего не слушала, руки ее свело судорогой, шея раздулась, глаза закатились. Она упала на плиты пола и потеряла всякое ощущение своего несчастья. Пираты, обо всем договорившись с Орио, удалились. Орио бросился на свое ложе и заснул, совершенно разбитый усталостью.

Наам перевязала его рану и теперь охраняет его сон, растянувшись на циновке у кровати. Наам уже давно не вкушала мирного сна. Через самые ужасные происшествия, через самые тяжкие испытания жизни проходит она со спокойствием и душевной уравновешенностью крепко закаленного духа и тела. Но в минуты отдыха сновидение порою возвращает ее к тем временам, когда, качиваемая в гамаке белоснежного дамасского шелка четыремя нубийскими невольницами, с кожей черной, как ночь, с белыми зубами, с веселыми открытыми лицами, она засыпала под звуки мандоры в дыму благовонных курений, в сладострастной истоме, под улыбчивым ликом Фингари, царицы восточных ночей, под лаской прохладного ветерка, осыпавшего ее грудь лепестками цветов, украшающих ее косы. Времена эти прошли. Нежные ступни Наам попирают теперь жесткий щебень побережий и острую, режущую поверхность морских скал. Ее тонкие пальцы загубели от постоянного соприкосновения с рулем и снастями. Иссушающее дыхание ветра и терпкий морской воздух покрыли загаром ее кожу, которую когда-то можно было сравнить с бархатной кожицей персика или абрикоса рано утром, когда ничья рука не сняла еще с них серебристый налет предрассветной влаги. Наам, душистый цветок пустыни на гибком, но крепком и цепком стебле, родилась дочерью

вольных кочевых племен. Она не позабыла тех дней, когда, бегая босыми ногами по раскаленному песку, водила верблюдов на водопой и гнала обратно их послушное стадо, неся на голове кувшин со свежей водой, почти такой же большой, как она сама. Она помнит, как ее смелая рука продевала узду в непокорные рты худых белых кобылиц ее отца. Она спала под кочевыми шатрами — нынче у подножия гор, завтра на краю равнины. Лежа под ногами своих друзей-скакунов, она беззаботно слушала далекий лай шакалов или рычание пантер. Затем, еще до того, как она познала радость свободной взаимной любви, ее похитили разбойники и продали паше. Под сенью гарема она расцвела, как экзотическое растение, без вольного воздуха, без движения, без солнца, сожалея о своей былой нищете среди богатства и изобилия, с отвращением перенося докучные ласки своего деспота. Теперь Наам уже не жалеет о своей родине. Она любит, она верит, что любима. Орио ласково обращается с нею и доверяет ей все свои тайны. Нет сомнения — она ему дорога, ибо нужна и полезна, и ни в ком не найдет он такого рвения в сочетании с такой осмотрительностью, присутствием духа, мужеством и привязанностью.

Впрочем, Наам ощущает себя свободной. Ее овевает вольный воздух, очи ее озирают широкий оком. Обязанности у нее лишь те, что внушает ей сердце; единственная кара, которой она может страшиться, — это не быть любимой. И потому она не сожалеет ни о прислуживавших ей рабынях, ни о ванне с душистой водой, ни об ожерельях из цейлонского жемчуга, ни о тяжелом от драгоценных камней корсаже, ни о длительном ночном сне, ни о длительном послеполуденном отдыхе. Она была царицей гарема, но не переставала чувствовать неволю. Здесь, среди этих христиан она рабыня, но ощущает себя свободной, а свобода для нее лучше всякого царства.

Скоро займется новый день, и вот чей-то слабый вздох пробуждает Наам от ее чуткого сна. Она приподнимается на коленях и смотрит на склоненную голову Соранцо. Но он спокойно спит, ровно и мирно дышит. И опять до слуха Наам доносится вздох, еще более глубокий, чем тот, первый, и полный невыразимой тоски. Она отходит от ложа Орио и бесшумно приподымает завесу окна. Там она находит неподвижно распростертую Джованну. Охваченная изумлением, она

растрогана и сохраняет великодушное молчание. Затем, снова подойдя к Орио, она опускает занавески у его ложа, возвращается к Джованне, обнимает ее, поднимает и, никого не разбудив, относит в ее комнату. Орио так и не узнал, на что осмелилась Джованна. Он запер жену в ее покои, как пленницу, и перестал даже заходить к ней. Тщетно пыталась Наам добиться, чтобы он смягчился. На этот раз ей не удалось повлиять на него и даже показалось, что и ей он как будто не совсем доверяет, замышляя про себя что-то недоброе.

Благодаря уходу Наам рана Орио зажила в несколько дней. Казалось несомненным, что Эдзелино погиб. Нигде не найдено было ни малейших намеков на то, что он мог спастись. Да если бы он и спасся от буйной ярости пиратов, то все равно его настигла бы обдуманная ненависть Соранцо. Джованна уже ни на что не жалуется и как будто не страдает; она не смотрит вечерами в окно, не вслушивается в неясные ночные звуки. Когда Наам поет ей песни своей родины под аккомпанемент лютни или мандоры, она не слушает, но улыбается. Иногда она берет в руки книгу, и кажется, будто она читает. Но взгляд ее целыми часами устремлен в одну и ту же страницу, а дух блуждает где-то далеко. Она более рассеянна, но менее угнетена, чем до смерти Эдзелино. Иногда ее можно застать стоящей на коленях — она словно в каком-то экстазе, глаза ее подняты к небу. Джованна наконец-то обрела спокойствие отчаяния, она дала некий обет, она не любит больше ничего на этой земле. Кажется, будто возвращена ей и воля к жизни. Она опять хорошеет, и румянец здоровья снова играет на ее лице.

Морозини узнал о разгроме Эдзелино, и вся душа его возмущена наглостью пиратов. Утрата столь благородного и верного слуги государства погрузила в скорбь адмирала и все войско. На кораблях венецианского флота служат по нем заупокойную мессу, в гавани Корфу раздается мрачный пушечный салют, сообщающий вооруженным силам республики о печальном конце одного из самых доблестных офицеров. Теперь бездействие и трусость Соранцо начинают вызывать ропот. У Морозини зарождаются серьезные подозрения, но предельная осторожность велит ему молчать. Он шлет мужу племянницы приказ немедленно явиться к нему и дать отчет о своем поведении, а командование гарнизоном острова передать одному представителю рода Мочениго, которого он посылает ему на

смену. Морозини велит Соранцо привезти с собой жену, а галеру, которой он так мало пользуется, оставить в распоряжении Мочениго.

Но у Соранцо имеются в Корфу свои шпионы, его вестники опережают эскадру Мочениго, и он заранее предупрежден. Да он и не дожидался этого дня и уже позаботился о том, чтобы сохранить в безопасности богатую добычу, награбленную с помощью Гусейна и его сотоварищей. Все захваченное обращено в звонкую монету. Часть этого золота уже отправлена в Венецию. Орио велел снарядить галеру, на которой прибыла к нему Джованна. С помощью Наам и верных людей он перенес туда тяжелые ящики и мехи верблюжьей кожи, наполненные золотыми монетами. Это остаток его богатства, и галера готова уже поднять паруса. Он сообщает своим офицерам, что синьора решила вернуться в Венецию, и не дает им даже заподозрить, что ему грозит немилость, над которой он, впрочем, только смеется, ибо успел принять меры предосторожности. Пираты тоже предупреждены Гусейн со своей флотилией стремительно уносится к большому архипелагу, где ему не нужно будет бояться венецианского флота. Уверяют, что он дожил до восьмидесяти шести лет, не переставая заниматься морским разбоем и сумев не попасться в руки врагов.

С ним и албанский еврей. В Венеции он был приговорен к смертной казни за несколько убийств, и Орио может не опасаться, что он осмелится когда-либо туда вернуться. Но ренегат Фремио, чьи преступления были не столь явны и который значительно смелее, внушает ему подозрения. Он расспрашивает его, узнает, что ренегат хотел бы возвратиться в Италию, и боится, что тот может на него донести. Орио предлагает ему остаться при нем, обещая дать ему возможность вернуться в Венецию на его галере и так, что правосудие до него не доберется. Ренегат, при всей своей подозрительности, соблазняется надеждой мирно дожить свой век на родине среди богатства, добытого разбоем. Он переносит свою добычу на галеру, где уже сложены сокровища Орио, меняет одежду и всю свою повадку и выдает себя на острове за генуэзского купца, бежавшего из турецкого рабства и укрывшегося под покровительством Соранцо.

Теперь, кроме ренегата, для Орио представляют опасность еще только комендант Леонцио, командир галеры Медзани да два матроса, которые проводят его таинственную лодку через отмели. Все

приготовления завершены. Отъезд Джованны в Венецию назначен на первое мая. Как раз в этот день Мочениго должен прибыть на Сан-Сильвио с приказом об отзыве Соранцо. Но знает об этом один Орио. Он велел предупредить Джованну, что ей надлежит подготовиться к отъезду, и накануне вечером сам отправляется к ней, приказав предварительно известить Леонцио, Медзани и ренегата, что они должны явиться в полночь в его личные покои, где он сообщит им нечто весьма для них важное.

Орио надел свой самый роскошный камзол и завил волосы. На пальцах его сверкают дорогие перстни, и правая рука, уже почти зажившая и затянутая в надушенную перчатку, изящно помахивает цветущей веткой. Он входит к жене без всякого доклада, велит ее прислужницам выйти и, оставшись с ней наедине, хочет обнять ее. Но Джованна отшатывается, словно от прикосновения ядовитой змеи, и уклоняется от его ласк.

— Оставьте меня, — говорит она Соранцо, — я вам больше не жена. Наши руки соединились, казалось бы, навеки, но теперь они не должны соприкасаться ни на этом свете, ни на том...

— Вы правы, любовь моя, — говорит Соранцо, — что гневаетесь на меня. Много дней не проявлял я к вам ни нежности, ни даже вежливого внимания. Но сейчас, когда я преклоняю перед вами колени и оправдываюсь, вы смягчитесь.

И вот он принимается рассказывать ей, что, поглощенный делами и заботами по своей должности, он решил не вкушать отдохновения и счастья, пока не завершит всего задуманного. Теперь же, по его мнению, все готово для осуществления этих намерений и он сумеет блистательно доказать свою верность республике, полностью уничтожив пиратов. Он попросил у адмирала подкреплений, они ему посланы, и все приготовлено для жестокого и решительного боя. Но он не хочет, чтобы его нежно любимая и чтимая супруга подвергалась риску, связанному с таким делом. Он уже все подготовил к ее отъезду и сам будет сопровождать ее на своей тяжелой галере до Фиаки, а затем возвратится, чтобы смыть подозрения, запятнавшие его честь, или же погибнуть под развалинами крепости.

— Эта последняя ночь, которую мы проводим под кровом крепостной башни,

— добавляет он, — может быть, вообще последняя, которую нам суждено провести под одним кровом. В роковой этот час моя Джованна забудет о своей оскорбленной гордости, она не отвергнет моей любви и раскаяния. Она откроет мне свое сердце и свои объятия. И — в последний раз, может быть, — она даст мне то истинное блаженство, которое я познал только с ней.

Говоря все это, он обнимает ее, склоняя перед ней свое гордое чело, так часто заставлявшее ее трепетать. И в то же время пытается прочесть в ее глазах, насколько она теперь доверяет ему, насколько осталось в ней подозрительности, которую необходимо рассеять. Он думает, что для него еще не закрыта возможность восстановить свое господство над этой женщиной, которая так любила его и которую он властен был убедить в чем угодно, когда это было ему желательно. Однако она высвобождается из его объятий и холодно отталкивает его.

— Оставьте меня, — говорит она. — Если есть на свете какой-то способ восстановить вашу честь, я за вас рада. Но способа, которым вы могли бы восстановить свои права на мою супружескую любовь, не существует. Если вы погибнете в затеянном вами предприятии, то, может быть, искупите свои провинности, и я буду молиться за вашу душу. Но если вы останетесь в живых, я все равно расстанусь с вами навсегда.

Орио бледнеет и хмурится, но Джованну несколько не волнует его гнев. Орио сдерживается и продолжает умолять ее. Он делает вид, что принимает ее холодность за следствие обиды, расспрашивает, чтобы выведать, станет ли она упорствовать в своих обвинениях. Но Джованна отказывается объяснять ему что-либо.

— В помыслах моих я обязана отчитываться лишь перед богом, — говорит она. — Отныне господь бог — единственный мой супруг и повелитель. Так натерпелась я от земной любви, что вижу теперь всю ее тщету. Я дала обет: по возвращении в Венецию я добьюсь расторжения нашего брака и постригусь в монахини.

Орио делает вид, что не принимает этого решения всерьез, что не верит в него и надеется, что через несколько часов Джованну поколеблют его ласки. Он удаляется с самодовольным выражением лица, которое вызывает лишь презрение в ее нежном, но гордом сердце, не способном больше любить того, кого презирает, и обращающем к небу всю свою надежду и веру.

Наам дожидалась Орио у входа в башню. Он показался ей угрюмым, он говорил отрывисто, и голос его дрожал:

— Который теперь час, Наам?

— До полуночи осталось два часа.

— Ты знаешь, что нам осталось сделать?

— Все готово.

— Сотрапезники наши придут к полуночи в мою комнату?

— Придут.

— Кинжал твой при тебе?

— Да, господин, а вот и твой.

— Ты уверена в себе, Наам?

— Господин, а ты убежден в том, что они замыслили измену?

— Я же тебе сказал. Ты сомневаешься?

— Нет, господин.

— Так вперед!

— Вперед!

Орио и Наам проникают в подземные галереи, спускаются по веревочной лестнице, выходят на берег моря и подзывают лодку. Оба неутомимых гребца, которые всегда в этот час скрываются в ближайшей пещере, поджидая условленного сигнала, тотчас же спускают лодку на воду и подплывают к берегу. Орио со своей спутницей прыгает в лодку и велит матросам плыть подальше от берега. Вскоре они оказываются уже достаточно далеко от замка, чтобы Орио мог осуществить задуманное. Заняв место на корме, он вдруг приподнимается и, приблизившись к гребцу, склоненному над веслом, вонзает кинжал ему в горло.

— Измена! — кричит тот и, хрипя, падает на колени.

Его товарищ бросает свое весло и устремляется к нему. Наам наносит ему удар топором по голове, и он падает ничком. Она хватается весло, чтобы лодка не перевернулась, а Орио тем временем приканчивает свои жертвы. Потом он связывает их вместе толстым канатом и крепко привязывает к основанию мачты. Затем берет другое весло и торопливо гребет к скале Сан-Сильвио. Подойдя к ней, он хватается топор, пробивает двумя-тремя ударами дно лодки, куда, пенясь, врывается вода. Тогда он хватается Наам за руку и вместе с ней бросается к берегу, пока лодка погружается и исчезает под волнами с обоими трупами. В лодке с того мгновения, когда оба убийцы вошли в

нее, царило зловещее молчание. Пока совершалось злодеяние и после него они не обменялись ни словом.

— Ну вот! Все идет хорошо, мужайся! — обращается Соранцо к Наам, слыша, как у нее стучат зубы.

Наам тщетно пытается что-то ответить; горло ее судорожно сжато. Однако она не теряет решимости и сохраняет присутствие духа. Она поднимается по веревочной лестнице и вместе с Орио входит в башню. Там она зажигает светильник, и их взгляды скрещиваются. Бледные лица, запятнанная кровью одежда вызывает в них такой ужас, что они расходятся в разные стороны, боясь коснуться друг друга. Однако Орио старается поддержать своей вызывающей смелостью колеблющееся мужество Наам.

— Это пустяки, — говорит он, — не твоей руке, поразившей тигра, дрожать, уничтожая трусливых шакалов.

Наам все так же молча делает ему знак не напоминать ей об этом. Она убила пашу безо всякой жалости, без угрызений совести, но не переносит, чтобы в ее памяти вызывали это деяние. Она торопливо меняет одежду и, пока Орио следует ее примеру, накрывает стол к ужину. Вскоре их сотрапезники тихонько стучат в дверь. Она вводит их в комнату. Они, видимо, удивлены тем, что нет слуг, подающих ужин.

— Мне надо сообщить очень важные вещи, — говорит им Орио, — сообщить втайне, без лишних свидетелей. Нам здесь хватит фруктов и вина: ужин — ведь только предлог. Сейчас не время пировать. Вот возвратившись в прекрасную Венецию, среди богатства и вне всякой опасности, мы сможем целые ночи предаваться самым безумным оргиям. А здесь мы должны свести счета и поговорить о делах. Наам, дай нам перьев и бумаги. Медзани, вы будете секретарем, а Фремио пусть делает все подсчеты. Леонцио, налейте-ка нам всем вина.

Началось с того, что Фремио стал предъявлять необоснованные требования, утверждая, что Леонцио выдал ему неправильную расписку за добычу, которую он, Фремио, погрузил на галеру. Орио делал вид, что слушает их споры в качестве беспристрастного судьи. В момент, когда они особенно разгорячились, ренегат, который говорил с натугой, корявым языком, вызывавшим презрительную усмешку у двух других собутыльников, вдруг смешался от стыда и досады и,

чтобы подбодриться, выпил сразу два-три кубка. Но язык у него заплетался все больше и больше, и, яростно топнув ногой, он встал из-за стола и вышел на балкон. Наам проводила его глазами. Через несколько минут, пока продолжался спор между Медзани и Леонцио, Соранцо обменялся взглядом со своей невольницей и понял, что Фремио уже не заговорит. Он сидел на террасе, свесив ноги вниз и обвивая руками прутья балюстрады. Голова его склонилась, взгляд был устремлен в одну точку.

— Он что, пьян? — спросил Леонцио.

— Да. Так, впрочем, лучше, — ответил Медзани. — Покончим с делами без него.

Он попытался прочесть то, что писал Леонцио, но не смог ничего разобрать, — глаза его помутнели.

— Странное дело, — произнес он, поднося руку ко лбу. — Я тоже вроде бы пьян. Мессер Соранцо, это же просто подлость. Вы нас угощаете таким вином, что выпьешь его и теряешь всякое соображение... До утра ничего не стану подписывать!

Он упал на стул. Глаза его уставились в одну точку, губы посинели, руки вытянулись на столе.

— Что это? — произнес Леонцио, с ужасом глядя на него. — Синьор губернатор, или я никогда не видел, как помирают люди, или этот человек только что отдал богу душу.

— И с вами это сейчас произойдет, синьор комендант, — молвил Орио, встав с места и вырывая у него из рук перо и бумагу. — Поторапливайтесь со своими делами, для вас уже нет надежды, а счета между ними покончены.

Леонцио отпил всего какой-нибудь плоток вина, но ужас помог действию яда и нанес коменданту смертельный удар. Он упал на колени, сжимая руки, с блуждающим и уже потухшим взором и попытался что-то пробормотать.

— Не к чему, — сказал Орио, толкая его под стол. — Здесь ваши хитрости не помогут. Я-то ведь знаю, что сделку вы уже заключили и что, будучи половчее тех двоих, вы предаете и республику, чтобы иметь долю в нашей добыче, и своих сообщников, чтобы заслужить прощение республики, отправив нас в Пьомби. Но неужто вы думали, что такой человек, как я, спасует перед таким, как вы? Боевой коршун создан, чтобы летать, а ползучая гусеница — чтобы быть

раздавленной. Таков закон божеский. Прощайте, храбрый комендант, выдававший меня за безумца. Кто из нас двоих сейчас безумнее?

Леонцио пытался подняться, но не смог. Он дотащился до середины комнаты и испустил дух, прошептав имя Эдзелино. Что это было? Раскаяние? Или в предсмертный миг ему явился окровавленный призрак?

Орио и Наам затолкали три трупа под стол, а стол опрокинули на них вместе со скатертью и стульями. Затем Орио взял факел и поджег всю эту беспорядочную груду, закрыв предварительно окна. Наконец он удалился, велел Наам оставаться у двери, пока она не убедится, что трупы, стол и вся прочая обстановка сгорели и пламя вырывается наружу. Тогда, сказал он, она должна спуститься по главной лестнице и поднять в замке тревогу, забив в набат.

Прислонившись к двери, скрестив руки на груди и не спуская глаз с ужасного костра, уже охваченного синим пламенем, одиноко стояла Наам, погруженная в свои мрачные думы. Вот клубы дыма уже извиваются спиралью и, словно змеи, устремляются к потолку. Пламя растекается все шире. Голоса разгорающегося пожара визжат, свистят, перекликаются, смешиваются, образуя какие-то душераздирающие созвучия. Сверкающие мраморные плиты пола можно принять за водную поверхность, отражающую пламя пожара. За клубами дыма фрески на стене представляются некими мрачными духами, которые покровительствуют преступлению и наслаждаются бедой. Постепенно они начинают отделяться от стены, и бледные великаны кусками падают на каменный пол с сухим, зловещим стуком. Но в этой ужасающей сцене, где Наам

— плавное действующее лицо, нет ничего страшнее самой Наам. Если бы хоть один из тех, чьи почерневшие кости уже лежат среди пепла, мог на мгновение ожить и увидеть освещенную тусклыми отблесками пламени Наам с перекошенным от ужаса ртом, но неумолимой решимостью на лице, он снова упал бы, как от удара молнии, словно перед ним предстал сам ангел смерти. Азраил никогда не являлся людям в облике более устрашающем и прекрасном, чем облик таинственного и странного существа, наблюдающего сейчас за свершением мести Орио.

Но вот со звоном лопаются стекла окон, и огонь уж вырывается наружу. Наам кажется, что пора уже выполнить приказ господина и

поднять тревогу. Но почему Орио удалился, не велев ей последовать за ним? В ужасе, который она испытывала, совершая вместе с ним это дело, Наам повиновалась ему почти машинально, ко теперь в ее сердце тигрицы возник иной страх, великодушный порыв. Она забывает о том, чтобы ударить в набат, она быстро мчится по лестнице и галереям, отделяющим главную башню от деревянных палат, мчится к покоям Джованны. Но там царит глубокое безмолвие. Наам не удивлена тем, что в комнатах, через которые она поспешно пробегает, ей не встретилась ни одна из служанок Джованны. Верная негритянка, чей гамак обычно висит поперек двери в спальню госпожи, тоже отсутствует. Наам не знает, что под предлогом супружеского свидания с женой Орио заранее удалил всех служанок. Она думает, что, напротив, первой его заботой было прийти сюда за Джованной, чтобы спасти ее от пожара. И все же Наам неспокойна. Она входит в спальню Джованны. Здесь, как и всюду, глубочайшая тишина, а лампа светит так слабо, что Наам сперва лишь с трудом может разглядеть все находящееся в комнате. Однако она видит, что Джованна лежит на кровати, и ее удивляет, что Орио не поспешил предупредить жену о грозящей опасности. И в этот миг Наам охватывает такой ужас, какого она еще не испытывала, колени у нее дрожат, она не смеет подойти ближе. Борзой пес, вместо того чтобы бешено наброситься на нее, как обычно, приблизился к ней боязливо, умоляюще. Потом он снова сел у кровати и, насторожив уши, вытянул шею, словно тревожно дожидается пробуждения хозяйки. Время от времени он поворачивает голову к Наам с коротким визгом, как будто спрашивает о чем-то, а затем начинает лизать влажный пол.

Наам берет лампу, подносит ее к лицу Джованны и видит, что вся она залита кровью. Грудь ее пронзена одним-единственным ударом кинжала, но рана эта глубокая, смертельная, и Наам узнает руку, которая ее нанесла. Знает она и то, что теперь уже бесполезно проверять, не осталось ли хоть немного живой теплоты в этом теле, ибо там, где удар нанес Соранцо, не может быть никакой надежды. Наам неподвижно застыла перед этой прекрасной женщиной, уснувшей навеки. Новые мысли пробуждаются в ее душе. Она забывает обо всем, что предшествовало этому убийству. Она забыла даже о пожаре, который сама зажгла и который теперь гонится за нею.

«О сестра моя, чем заслужила ты смерть? Неужели такая судьба уготовлена всем женщинам, любившим Орио? Стоило ли тебе быть прекрасной? Стоило ли любить? Или это я виновница ненависти, которую ты в нем пробудила? Нет, я ведь все делала, чтобы смягчить его, и свою жизнь отдала бы за то, чтобы спасти твою. Или он заплатил презрением за то, что ты была слишком верна и покорна? Ты оказалась слишком слабой, женщина. Но я буду помнить о тебе. Пусть то, что с тобой случилось, послужит мне уроком». Пока Наам, погруженная в эти тяжкие думы, гадает о своей участи, глядя на труп Джованны, пожар все разгорается и деревянная галерея, окружающая дворик с цветущими клумбами, уже почти сгорела. Свист и зловещие отблески тщетно предупреждают Наам о приближении огня. Она ничего не слышит, душа ее так взбудоражена, что в этот миг ей кажется — не стоит и спасать свою жизнь.

Между тем Орио стоит неподалеку, на площадке, с которой он созерцает пожар, распространяющийся, по его мнению, слишком медленно. Вся эта часть замка, из которой он заранее удалил ее обитателей, станет через несколько минут добычей пламени, но Орио не позаботился о том, чтобы собственноручно поджечь комнату Джованны. Он слышит крики часовых, которые только что заметили зловещие отсветы пламени и поднимают тревогу.

Сейчас еще можно проникнуть к Джованне и увидеть, что она погибла от удара кинжалом. Орио предупреждает эту опасность. С пылающей головешкой в руке устремляется он в супружескую опочивальню, но, увидев Наам, стоящую у залитого кровью ложа, отступает в ужасе, словно перед призраком. И тут адская мысль пронзает его окаянную душу. Все его сообщники устранены, все враги уничтожены. Единственный человек, знающий о нем все, — это Наам. Только она одна могла бы раскрыть, благодаря каким злодеяниям он собрал и сохранил свои богатства. Одно усилие воли, один последний удар кинжалом — и Орио остался бы безраздельным хозяином, единственным владельцем своих тайн. Он колеблется, но Наам поворачивается к нему и глядит на него. То ли она предугадала его намерение, то ли убийство Джованны вызвало на ее бледном лице и в ее мрачном взгляде выражение негодования и укора, но взгляд этот оказывает на Орио магическое воздействие: в душе его по-прежнему таится злое желание, но на злодейство у него уже не хватает сил. В

этот миг Орио понял, что Наам — существо более сильное, чем он, и что нет у него такой же власти над ее судьбой, как над судьбой других его жертв. Орио охвачен суеверным страхом. Он дрожит, как человек, которого внезапно сплазили. Во всяком случае, он делает усилие, чтобы совсем покончить с Джованной, и бросает пылающую головешку на кровать.

— Что ты здесь делаешь? — с угрюмым гневом обращается он к Наам. — Я же велел тебе ударить в набат! Иди, повинуйся! Смотри: огонь преследует нас по пятам!

— Орио, — говорит Наам, не двигаясь, не выпуская из своей руки руку трупа, — зачем ты убил свою жену? Это ужасное преступление. Я считала, что ты больше, чем человек, теперь вижу, что ты такой же, как все, способный и на хорошее и на дурное! Как мне чтить тебя, Орио, теперь, когда я знаю, что тебя следует страшиться? Это такое дело, которого я никогда не смогу забыть, и даже вся моя любовь к тебе не подскажет мне сейчас ничего, что могло бы его хоть как-то оправдать. О, если бы богу было угодно, чтобы ты его не совершал и я бы этого не видела! Не знаю, простит ли тебе твой бог, но уж наверное аллах проклянет человека, убившего свою жену, непорочную и верную.

— Прочь отсюда! — кричит Орио, опасаящийся, что кто-нибудь может застать его в таком месте и за таким спором. — Делай, что тебе велено, и молчи, а не то — бойся и за себя!

Наам пристально посмотрела на него и, указав на пламя, целым снопом врывающееся в дверь, промолвила:

— Тот из нас, кто спокойнее переступит через огонь, будет иметь право угрожать другому и запугивать его.

И в то время, как Орио, побежденный опасностью, поспешно устремляется прочь из этой комнаты, она медленно приближается к охваченной пламенем двери, так, словно не замечает грозящей беды. Пес идет за нею до двери, но, видя, что хозяйку его оставляют здесь, он возвращается к кровати, жалобно воя.

— Ты животное, а в тебе больше чувства и преданности, чем в человеке, — говорит Наам, возвращаясь вспять, — тебя надо спасти.

Но тщетно пытается она оторвать пса от мертвого тела: он упирается, скалит зубы. Если Наам станет продолжать эту борьбу, она потеряет последнюю возможность спасения. Спокойно переступает

она через огонь и находит Орио во дворике. Он нетерпеливо ждет там и теперь глядит на нее с восхищением.

— О Наам, — говорит он, хватая ее за руку и увлекая за собой, — у тебя великая душа, ты должна все понимать.

— Я могу понять все, кроме этого! — отвечает Наам, указывая пальцем на комнату Джованны, где только что с ужасающим шумом обрушился потолок.

В один миг весь замок был взбудоражен. Солдаты и слуги, мужчины и женщины бросились к покоям губернатора и его жены. Но в ту минуту, когда оттуда вышли Орио и Наам, деревянное строение, вспыхнувшее с ужасающей быстротой, представляло собой лишь груды пепла, окруженного пламенем. Никто не смог проникнуть внутрь. Один старый слуга дома Морозини попытался это сделать и погиб. Соранцо и его юный раб исчезли среди общего смятения. Сильный ветер распространил пламя повсюду. Вскоре вся главная башня представляла собой гигантский огненно-красный сноп, окровавивший своим отсветом море на целую милю в окружности. Башни рухнули с чудовищным грохотом, а их тяжелые каменные зубцы, скатываясь со скалы в море, забили и заткнули все пещеры и тайные выходы, где прятал лодку Орио и откуда он выходил к морю. Те, кто видел с проходивших вдалеке кораблей этот ужасный пожар, подумали, что на отмелях установлен огромной силы маяк, а перепуганные жители ближайших островов говорили:

— Это пираты истребляют венецианский гарнизон и поджигают замок Сан-Сильвио.

К утру все обитатели крепости, изгнанные пожаром из замка, толпились на берегу бухты, единственном месте, где обрушившиеся камни и обломки деревянных балок не могли их настичь. Было немало жертв. При бледном свете зари стали подсчитывать погибших, и все взгляды обратились к Орио, в угрюмом молчании сидевшему на камне. Рядом с ним стояла Наам. Башня еще горела, и занимающийся день, казалось, делал еще более ужасным зарево пожара. Никто уже не думал бороться со стихией огня. Люди собирались кучками, слышались рыдания и проклятия. Одни жалели о близком или друге, другие — об утраченной ценной вещи. И все тихонько спрашивали друг друга:

— Но где же синьора Соранцо? Ее, верно, все-таки спасли, раз губернатор на вид так спокоен?

И вдруг от грохота, еще более страшного, чем прежде, дрогнули даже самые мужественные сердца. Вся масса почерневших камней, еще сопротивлявшаяся огню, сразу треснула сверху донизу. Не устояли даже базальтовые ребра скалы, и глубокие щели избороздили эту мощную твердыню, подобно тому, как от удара молнии трескается ствол старого дуба. Сразу рухнула вся верхняя часть замка — широкие мраморные террасы, площадки башен и их зубчатые ограды. Пламя раздробилось на тысячи язычков, которые, словно струи огненного водопада, стекали по стенам здания. И вдруг все погасло. Теперь вся эта крепость являла собой лишь бесформенное нагромождение камней, из которого поднимались клубы едкого дыма да порой слабые вспышки бледнеющего уже пламени — может быть, последние отблески жизней, погребенных под этими обломками.

После этого воцарилась мертвая тишина, и бледные жители острова, рассеянные по влажному берегу, переглянулись, как призраки, что поднимаются из могил, отряхивая свои пыльные саваны. И вдруг из недр этих развалин, где, казалось, должны были заглохнуть малейшие проявления жизни, до них донесся странный, жалобный голос, какой-то трудно определимый, раздирающий душу вой. Он длился несколько минут и завершился хриплым, заглушенным лаем, последним возгласом смерти. После этого слышен был только шум моря, обреченного вечно стенать на этом обездоленном берегу.

— Где же прятался этот заколдованный пес, если раздавило его только сейчас? — сказал Орио, обращаясь к Наам.

— Ты уверен, — ответила Наам, — что теперь уже ничего не осталось от...

— Едем! — произнес Орио, воздымая обе руки к бледным звездам, гаснущим в лучах дня.

Те, кто видел это издалека, приняли жест Орио за порыв невыразимого отчаяния. Наам, лучше понимавшая его, усмотрела в нем крик торжества.

Соранцо и его юный невольник бросились в лодку и доплыли до галеры, приготовленной, чтобы увезти в Венецию Джованну. Соранцо велел поднять все паруса и отдать команду к отплытию. На этом

легком корабле находились с ним только Наам, несколько слуг и очень небольшой экипаж, состоявший из отборных моряков.

Напрасно офицеры гарнизона и тяжелой военной галеры пришли к нему за распоряжениями. Он грубо оттолкнул их и велел своей команде поскорее поднимать якорь.

— Синьоры, — сказал он своим растерявшимся подчиненным, — можете вы вернуть мне жену, которую я так любил и которая осталась там, под развалинами? Нет, не можете? Так о чем же вы со мной говорите и чего ждете от меня?

С этими словами он, словно громом пораженный, упал на палубу своей галеры, уже разрезавшей волны.

— Отчаяние окончательно помutilo его разум, — сказали офицеры, спускаясь в свою лодку и глядя, как быстро удаляется от них начальник, бросивший их на произвол судьбы.

Когда они уже не могли видеть галеру, Наам наклонилась над Орио, распростертым без движения на верхней палубе.

— На тебя уже не смотрят, — сказала она ему на ухо, — вставай, обманщик!

За повествование снова принялся аббат, а Беппа тем временем стала угощать Зузуфа шербетом.

— Я не берусь рассказать вам в точности, что произошло на островах Курцолари после отъезда Орио Соранцо. Думаю, что друг наш Зузуф об этом тоже не осведомлен и что, в конце концов, каждый из нас легко может себе это представить. Когда гарнизон, матросы и слуги увидели, что они оставлены своим губернатором и что единственное их убежище теперь — военная галера да рыбацьи хижины, рассеянные вдоль побережья, они, наверное, были возмущены и испуганы своим положением и заколебались: им хотелось искать убежища в Кефалонии, но в то же время они боялись действовать без распоряжений начальства и, может быть, вразрез с намерениями адмирала. Мы, впрочем, знаем, что, на их счастье, в тот же вечер прибыл Мочениго со своей эскадрой. У него имелись достаточно широкие полномочия, чтобы справиться с этим тягостным положением. Приняв к сведению и занеся в протокол все только что происшедшее на острове, он велел всем находящимся на Курцолари

венецианцам погрузиться на военную галеру и, поручив командование этим единственным оставшимся у них кораблем старшему чином офицеру, свою эскадру он разделил: половину кораблей послал в Фиаки, половину — к берегам Лепанто. Но крайне удивлен был Мочениго тем обстоятельством, что он тщетно обследовал развалины Сан-Сильвио, тщетно учинял нечто вроде опроса всем, кто находился в замке, когда начался пожар, и всем, кто присутствовал при посадке Соранцо на галеру и был очевидцем его бегства: ему так и не удалось выяснить что-либо о судьбе Джованны Морозини, Леонцио и Медзани. По всей вероятности, последние двое погибли во время пожара, ибо с того времени их никто не видел, а уж, наверное, они появились бы, если бы избежали гибели. Но судьбу синьоры Соранцо окутывала тайна. Одни, ссылаясь на слова губернатора перед самым его отплытием, выражали твердое убеждение, что она тоже стала жертвой пламени, другие (таких было значительное большинство) полагали, что как раз эти слова в устах такого скрытного человека доказывали обратное тому, в чем он хотел уверить. По их мнению, синьору раньше всех спасли от опасности и отправили на галеру Кругом царило тогда общее смятение, чем и объясняется, что никто не припоминал, как она вышла из крепости и удалилась с острова. Без сомнения, у Орио имелись особые причины скрывать ее на галере в момент отплытия. Уже давно он испытывал к этому острову величайшее отвращение и стремился его покинуть. И для того, чтобы как-то оправдать свой поспешный отъезд, оставление должности и пренебрежение воинским долгом, он решил разыграть отчаяние, вызванное гибелью супруги. Исчерпав все способы внести ясность в случившееся, Мочениго велел начать погрузку людей на галеру и готовиться к отплытию. Но к отправлению своей новой должности он приступил лишь после того, как послал срочное донесение Морозини, чтобы тот как можно скорее выяснил, в Венеции ли его племянница, ибо предполагалось, что дезертир Соранцо отвез ее туда.

Вы, знающие истинное положение Соранцо, сперва должны были бы подумать, что он, будучи обладателем столь дорогой ценой приобретенных богатств и опасаясь в Венеции любых неприятностей и бед, отправился к иным берегам, в страну, где его никто бы не знал и где никакие свидетельства о его преступлениях не помешали бы ему пользоваться своим богатством. Но в данном случае дерзость Соранцо

достойным образом увенчала все его прочие бессовестные дела. То ли подлые души обладают своего рода мужеством отчаяния, свойственным им одним, то ли рок, вмешательством которого наш друг Зузуф объясняет все происходящее с людьми, осуждает великих преступников на то, чтобы они сами шли к своей гибели, — но следует заметить, что эти гнусные люди всегда лишаются плодов своих злодеяний только потому, что не умеют вовремя остановиться.

Морозини еще и понятия не имел, что почти все приданое племянницы было промотано в первые же три месяца ее брака с Соранцо. Соранцо же, по мнению которого благосклонность адмирала являлась источником всех почестей и всяческой власти в республике, стремился прежде всего возместить растроченное состояние. Быстрейший способ показался ему наилучшим, и, как мы видели, он, вместо того чтобы охотиться за пиратами, стакнулся с ними в деле ограбления торговых кораблей всех наций. Едва ступив на этот путь, он так изумился огромной, скорой, верной добыче, так опьянел от нее, что остановиться уже не мог. Он перестал довольствоваться тем, что бездействием своим покровительствовал пиратству и втайне получал свою долю добычи. Вскоре ему захотелось для увеличения этих гнусных барышей использовать свои дарования, свою храбрость и то своего рода фанатичное преклонение, которое он с самого начала внушил этим разбойникам.

— Раз уж мы поставили на карту честь и жизнь, — сказал он Медзани и Леонцио, своим сообщникам (и, надо сказать, подстрекателям), — надо ни перед чем не останавливаться и ставить на карту все.

Дерзкий замысел удался: он стал командовать пиратами, руководить ими, обогащать их и, стремясь сохранить среди них свой авторитет, который еще мог ему когда-нибудь пригодиться, отпустил их всех вместе с их главарем Гусейном, очень довольных его честностью и щедростью. С ними он повел себя, как настоящий венецианский вельможа, ибо получил достаточную долю общей добычи, чтобы проявить щедрость, да, кроме того рассчитывал воспользоваться долями ренегата, коменданта и своего помощника, которых все равно, по его мнению, нельзя было оставлять в живых, если сам он хотел жить.

Некая проклятая звезда руководила судьбой Орио во всем этом деле и покровительствовала его злосчастному успеху. Вы вскоре увидите, что адская эта сила еще дальше понесла его на своем огненном колесе.

Хотя Соранцо получил в четыре раза больше того, чего желал, все сокровища мира были для него ничто без Венеции, где их можно было растратить. В то время любовь к родине была настолько сильной, настолько живучей, что она цеплялась за все сердца — и самые низкие и самые благородные. Да тогда и не было особой заслуги в том, чтобы любить Венецию! Она была такой прекрасной, могущественной, радостной! Она была такой доброй матерью всем своим детям, она так страстно влюблялась в любую их славу! Венеция так ласкала своих победоносных воинов, ее трубы так громко воспевали их храбрость, она так утонченно, так изящно восхваляла их предусмотрительность, такими изысканными наслаждениями вознаграждала их за малейшую услугу! Нигде нельзя было развлекаться столь роскошными празднествами, предаваться столь восхитительной лени, до отказа погружаться в столь блестящий вихрь удовольствий сегодня, в столь сладостное отдохновение завтра. Это был самый прекрасный город в Европе, самый развратный и в то же время самый добродетельный. Праведники имели возможность творить там любое добро, злодеи — любое зло. Там хватало солнца для одних и мрака для других. Там, наряду с мудрыми установлениями и волнующим церемониалом для провозглашения благородных начал, имелись также подземелья, инквизиторы и палачи для поддержания деспотизма и утоления тайных страстей. Были дни для торжественного прославления доблести и ночи распутства для порока; и нигде на земле прославления не были более опьяняющими, а распутство — более поэтичным. Вот почему Венеция была естественной родиной всех сильных душ — сильных и в добре и во зле. Для всякого, кто ее знал, она становилась родиной, без которой нельзя обойтись, которую нельзя отвергнуть.

Потому-то Орио и рассчитывал наслаждаться своим богатством только в Венеции и ни в каком ином месте. Более того — он хотел наслаждаться им, сохраняя все привилегии, которые давали ему венецианское происхождение, родовитость и военная слава. Ибо Орио был не только корыстолюбив, он был к тому же и невыразимо

тщеславен. Он шел на все (вам известны и его доблесть и его подлость), чтобы скрыть свой позор и сохранить славу храбреца. И странное дело! Несмотря на его явное бездействие в Сан-Сильвио, несмотря на то, что сами факты заставляли подозревать его в тяжких провинностях, несмотря на жестокие обвинения, которые висели над его головой, наконец несмотря на ненависть, которую он вызывал, среди всех недовольных, оставленных им на острове, не нашлось ни одного обвинителя. Никто не заподозрил его в том, что он принимал участие в морском разбое или хотя бы покровительствовал пиратам, и все странности его поведения после патрасского дела объясняли или извиняли горем и душевной болезнью. Далее самый великий полководец, самый храбрый воин могут после поражения потерять рассудок.

Поэтому Соранцо мог избавиться от всех неудобств приписываемой ему душевной болезни при ближайшем же значительном боевом деле, и так как эта болезнь, придуманная Леонцио отчасти, чтобы спасти его, отчасти, чтобы при случае погубить, оказывалась в его нынешнем положении самым лучшим объяснением, он решил извлечь из нее всю возможную выгоду.

Тут у него и возникла дерзновенная мысль немедленно плыть на Корфу к Морозини, чтобы и адмирал и все венецианское войско увидели его в состоянии глубочайшего отчаяния и душевного смятения, близкого к полному сумасшествию. Комедия эта была так живо задумана и так великолепно разыграна, что вся армия попала на удочку. Адмирал оплакивал вместе с племянником гибель Джованни и под конец даже сам принялся утешать его.

Всем, кто знал Джованну Морозини, горе Соранцо казалось вполне естественным, даже священным; никто не осмеливался больше осуждать его поведение, и каждый опасался прослыть жестокосердым, если бы отказал в сострадании к столь ужасной беде. Целую неделю его охраняли, как буйно помешанного. Затем, когда рассудок, по всей видимости, начал к нему возвращаться, он стал выказывать такое отвращение к жизни, такое безразличие ко всему мирскому, что и разговоры заводил лишь о том, чтобы постричься в монахи. Вместо того чтобы взыскать с него за нерадивое управление островом и лишить военного звания, великодушный Морозини оказался вынужденным выказать ему родственную привязанность и

предложить еще более высокую должность в надежде примирить его с воинской славой и тем самым с жизнью. Соранцо, решив про себя воспользоваться этим предложением во благовремении, сделал вид, что возмущенно отвергает его, и, придравшись к случаю, ловко расцветил свое поведение в замке Сан-Сильвио.

— Это мне — военные отличия?! Это мне — почести и фимиам славы?! — воскликнул он. — О чем вы думаете, благородный Морозини! Разве не кратковременный злосчастный приступ честолюбия загубил блаженство всей моей жизни? Нельзя служить двум господам: я создан был для любви, а не для славы! Что сделал я, прислушавшись к лживым посулам геройства? Я потревожил мир и доверие в душе Джованны, я оторвал ее от безопасного, спокойного, незаметного существования, я увлек ее в самое логово гроз, в тюрьму, повисшую между небом и морской пучиной, где вскоре ее здоровье было подточено. А при виде ее страданий и моя душа дрогнула, я утратил энергию, память, военный талант. Поглощенный любовью, мучимый страхом погубить любимую, я позабыл, что я воин, и ощущал себя только супругом и возлюбленным Джованны. Может быть, этим я обесчестил себя, не знаю. Не все ли равно? В душе моей нет места никаким сожалениям.

Вся эта гнусная ложь возымела такой успех, что Морозини стал любить Соранцо со всем пылом своей великой и чистой души. Когда ему показалось, что горе племянника несколько успокоилось, он пожелал отвезти его в Венецию, куда сам должен был отправиться по важным государственным делам. Он взял его на свою собственную галеру и во время путешествия не щадил благородных усилий, чтобы вернуть мужество и честолюбие тому, к кому относился как к родному сыну.

Корабль Соранцо, предмет его тайных забот, плыл вместе с кораблями Морозини и его свиты. Вы хорошо понимаете, что болезнь, отчаяние, безумие не мешали Соранцо ни на миг не спускать глаз с его дорогой, груженной золотом галеры. Наам, единственное существо, которому он мог доверять как самому себе, сидела на носу, внимательно следя за всем происходящим и на ее корабле и на адмиральском. Наам была погружена в глубокую печаль, но любовь ее вынесла все ужасные испытания. То ли Соранцо удалось обмануть ее, как и других, то ли подлинная скорбь, как воздаяние за ту, что он

разыгрывал, овладела им, но Наам казалось, что из глаз его текут настоящие слезы, а приступы его бреда напугали ее. Она знала, что другим людям он лжет, но представить себе не могла, что и ее он захочет морочить, и поверила в его раскаяние. Соранцо понимал, как необходима ему преданность Наам. К каким только омерзительным ухищрениям не прибегал он, чтобы вновь подчинить ее своей власти! Он попытался было разъяснить Наам, что такое ревность у европейских женщин, и внушить ей посмертную ненависть к Джованне. Но это ему не удалось. Сердце Наам, простое и сильное, порой до свирепости, было слишком великодушным для зависти и мстительности. Божеством ее был рок. Она была беспощадна, слепа, невозмутима, как он.

В одном ему, впрочем, удалось ее убедить: в том, что Джованна угадала ее пол и сурово порицала своего супруга за двоеженство.

— В нашей религии, — говорил он, — это преступление, за которое карают смертью, а Джованна непременно пожаловалась бы верховным правителям Венеции. Мне бы пришлось потерять тебя, Наам. Я вынужден был сделать выбор и принес в жертву ту, кого меньше любил.

Наам ответила, что сама убила бы себя, чтобы только не видеть, как из-за нее гибнет Джованна. Но Орио отлично понимал, что если можно найти уязвимое место в душе прекрасной аравитянки, то именно такими выдумками. Для Наам любовь оправдывала все, что угодно. И, кроме того, у нее больше не было сил осуждать Соранцо, когда она видела его страдания, ибо он и на самом деле страдал.

О некоторых глубоко падших людях говорят, что они дикие звери. Это всего лишь метафора, ибо такие «дикие звери» — все же люди и преступления свои они совершают как люди, побуждаемые человеческими страстями и с помощью человеческих расчетов. Поэтому я верю в раскаяние, и на меня не производит впечатления горделивый вид убийц, равнодушно идущих на казнь. У большинства подобных людей много силы и гордыни, и если толпа не видит у них ни слез, ни страха, ни смирения, ни каких-либо других внешних проявлений, это не доказывает, что их душ не будоражит отчаяние и раскаяние и что внутреннее существо даже самого закоренелого на вид грешника не переживает таких терзаний, которые вышнее правосудие сочло бы достаточным искуплением. Что касается лично

меня, то соверши я преступление, все мое нутро день и ночь жгли бы раскаленные уголья, но мне кажется, что я сумел бы скрыть это от людского взора и вовсе не считал бы, что оправдываюсь в своих собственных глазах, если бы смиренно склонял колени перед судьями и палачами.

Несомненно, во всяком случае, то, что Орио, пусть даже вследствие величайшего нервного возбуждения, как сказал бы вам попросту наш друг Акрокероний, часто мучили тяжелые припадки. Ночами он просыпался от того, что его жгло пламя, он слышал жалобы и проклятия своих жертв, взгляд его встречался со взглядом — последним, кротким, но устрашающим взглядом — умирающей Джованны, и даже вой его пса среди затухающего пожара звучал у него в ушах. Тогда из его груди вылетали какие-то нечленораздельные звуки, а со лба струился холодный пот. Бессмертный поэт, которому угодно было преобразить его во внушительную фигуру Лары, неподражаемыми красками описал эту ужасную эпилепсию раскаяния. И если вы хотите представить себе Соранцо, перед глазами которого проходит призрак Джованны, перечитайте строки, начинающиеся так:

T'was midnight, — all was slumber; the lone light Dimm'd in the lamp, as loth to break the night.

Hark! there be murmurs heard in Lara's hall, A sound, — a voice, — a shriek, a fearful call!

A long, loud shriek...

[Вот полночь. Всюду спят. Ночник в углу Едва-едва одолевает мглу.]

В покоях Лары шепот вдруг возник, Какой-то говор, голос, резкий крик, Ужасный вопль... (пер. — Г.Шенгели)]

— Если ты станешь декламировать нам всего «Лару», — сказала Беппа, сдерживая приступ вдохновения, овладевший аббатом, — то когда мы услышим конец твоего рассказа?

— Ладно, поскорее забудь Лару! — вскричал аббат. — Пусть повесть об Орио предстанет перед вами как неприкрашенная правда.

Прошел год после смерти Джованны. В палаццо Редзониго давали большой бал, и вот что говорилось в группе гостей, изящно

расположившихся у амбразуры окна, частью в гостиной, где играли в карты, частью на балконе.

— Как видите, смерть Джованны Морозини не так уж потрясла Орио Соранцо, раз он вернулся к своим прежним страстям. Вы только поглядите на него! Никогда он не играл с таким увлечением!

— Говорят, он играет так с самого начала зимы.

— Что до меня, — сказала одна дама, — то я впервые после его возвращения из Морей вижу, чтоб он играл.

— Он и не играет никогда, — ответил ей кто-то, — в присутствии Пелопоннесского (так прозвали тогда великого Морозини в честь его третьей кампании против турок, самой удачной и славной из всех), но говорят, что в отсутствие высокопочтенного дядюшки он ведет себя как последний школьник. Шито-крыто он проиграл уже огромную сумму денег. Не человек, а бездонная яма!

— Видимо, он выигрывает по меньшей мере столько же, сколько и проигрывает, ибо я из достоверного источника знаю, что он промотал почти все приданое своей жены и что по возвращении из Корфу прошлой весной он прибыл в свой дом как раз в тот момент, когда, прослышав о смерти донны Джованны, ростовщики, словно вороны, налетели на его палаццо и начали оценку обстановки и картин. Орио разговаривал с ними возмущенным и высокомерным тоном человека, у которого денег сколько угодно. Он безо всякого стеснения разогнал всю эту нечисть, и говорят что через три дня они уже ползали перед ним на брюхе, ибо он все заплатил — все свои долги с процентами.

— Ну так верьте моему слову: они возьмут реванш, и в самом скором времени Орио пригласит кое-кого из этих уважаемых сынов Израиля позавтракать с ним запросто в его личных покоях. Когда видишь в руке Соранцо пару игральные кости, можно заранее сказать, что плотина открыта и что вся Адриатика хлынет в его сундуки и в его имения.

— Бедный Орио, — сказала дама. — Кто решится его осудить? Он ищет развлечений где может. Он ведь так несчастен!

— Заметно, однако же, — промолвил с досадой один молодой человек, — что мессер Орио никогда еще так широко не пользовался своим преимуществом неизменно вызывать интерес у женщин.

Похоже, что с тех пор, как он ими не занимается, они все в него влюбились.

— А точно ли известно, что он ими не занимается? — продолжала синьора с очаровательно кокетливой ужимкой.

— Вы обольщаетесь, сударыня, — сказал уязвленный кавалер, — Орио распростился с мирской суетой. Он домогается теперь не славы неотразимого любовника, а наслаждений в сумеречной тени. Если бы круговая порука не заставляла нас, мужчин, сохранять в тайне проступки, на которые все мы в той или иной мере способны, я бы назвал вам имена довольно покладистых красоток, на чьей груди Орио оплакивает Джованну, которую он так страстно обожал.

— Я уверена, что это клевета! — вскричала дама. — Вот каковы мужчины! Они отказывают друг другу в способности к благородной любви, чтобы им не пришлось подтверждать эту способность на деле, или же для того, чтобы выдавать за нечто возвышенное недостаток пыла и веры в своих сердцах. А я утверждаю, что если молчаливая сдержанность и мрачный вид Соранцо — только способ вызвать к себе симпатию, то способ этот весьма удачен. Когда он ухаживал за кем попало, для меня его внимание было бы унижительным, а теперь дело совсем другое; с тех пор как мы знаем, что он обезумел от горя, потеряв жену, что он в этом году снова пошел на войну с единственной целью пасть в битве и что он бросался, как лев, на жерла пушек, так и не обретя смерти, которой искал, для нас он стал красивее, чем когда-либо был. Я лично могу сказать, что если бы он стал искать в моих взорах то счастье, от которого якобы отказался в этом мире, то... что ж, я, может быть, была бы польщена!

— В таком случае, синьора, — сказал раздосадованные поклонник, — надо, чтобы самый преданный из ваших друзей известил Соранцо о счастье, которое ему улыбается, хотя он и понятия о нем не имеет.

— Я бы и попросила вас оказать мне эту пустяковую услугу, — ответила она небрежным тоном, — если бы не была накануне того, чтобы сжалиться над неким другим.

— Накануне, синьора?

— Да, и, по правде говоря, этот канун длится уже добрых полгода. Но кто это сюда вошел? Что это за чудо природы?

— Господи помилуй, да это Арджирия Эдзелини! Она так выросла, так изменилась за год своего траура, когда никто ее не видел, что в этой красавице и не узнать девочку из палаццо Меммо.

— Да, это истинная жемчужина Венеции, — согласилась дама, отнюдь не склонная поддаваться на мелкие колкости своего поклонника. И добрые четверть часа она пылко поддерживала похвалы, которые он намеренно расточал несравненной красоте Арджирии.

Но Арджирия действительно достойна была восхищения всех мужчин и зависти всех женщин. Малейшее движение ее полно было изящества и благородства. Голос ее источал чарующую сладость, а на ее широкое и ясное чело словно упал отблеск какого-то божественного сияния. Ей было немногим более пятнадцати лет, но ни одна женщина на этом балу не обладала такой прелестной фигурой. Однако особый характер ее красоте придавало какое-то невыразимое словами сочетание нежной грусти и застенчивой гордости. Взгляд ее словно говорил: «Уважайте мою скорбь, не пытайтесь ни развлекать меня, ни жалеть».

Она уступила желанию своей семьи, вновь появившись в свете, но сразу видно было, как тягостно было ей сделать над собой это усилие. Она обожала своего брата с пылом влюбленной и непорочностью ангела. Потеряв его, она как бы овдовела, ибо жила до этого со сладостной уверенностью, что имеет поддержку доверенного друга, покровителя, кроткого и смиренного с нею, но хмурого и сурового со всеми, кто к ней приближался. Теперь же она осталась одна на белом свете и не решалась предаваться невинному влечению к счастью, расцветающему в каждой юной душе. Она, можно сказать, не осмеливалась жить, и если какой-нибудь мужчина смотрел на нее или заговаривал с ней, она внутренне вся сжималась от этого взгляда и этих слов, которые Эдзелино не мог уже уловить и проверить, прежде чем допустить до нее. Поэтому она сохраняла предельную сдержанность, не доверяя ни себе, ни другим, но умея все же придать этому недоверию какой-то трогательный и достойный вид.

Молодой особе, говорившей о ней с таким восхищением, захотелось окончательно раздражить своего поклонника, и потому, подойдя к Арджирии, она завела с ней беседу. Вскоре весь кружок, собравшийся на балконе около этой дамы, сомкнулся вокруг двух

красавиц и увеличился настолько, что разговор стал общим. Все взгляды обращены были на Арджирию, она оказалась в центре внимания, но лишь грустно улыбалась порою звонкому щебету своей собеседницы. Может быть, та рассчитывала подавить ее этим преимуществом, победить остроумием и любезностью очарование ее спокойной и строгой красоты. Но ей это не удавалось. Артиллерия кокетства потерпела полное поражение от истинной красоты душевной, красоты, одетой внешней прелестью.

Во время этого разговора гостиная, где играли в карты, переполнилась приятными дамами и любезными кавалерами. Большая часть игроков опасалась проявить неучтивость, не бросив игру и не занявшись дамами, настоящие же игроки сомкнулись теснее вокруг одного стола, как на войне горстка храбрецов занимает укрепленную позицию для последнего, отчаянного сопротивления. Так же как Арджирия Эдзелини являлась центром кружка любезных кавалеров и дам, Орио Соранцо, словно пригвожденный к игорному столу, был душой и средоточием кучки страстных и алчных искателей удачи. Хотя стулья тех и других почти соприкасались, хотя между спинами собеседников и игроков едва хватало места, где свободно могли бы колыхаться пышные перья и двигаться руки, целая пропасть отделяла заботы и склонности этих весьма различных человеческих пород: людей легкомысленного нрава и людей жадных влечений. Их позы и выражения лиц были так же несхожи, как их речи и занятия.

Арджирия, слушая веселый разговор, походила на светлого ангела, озабоченного людскими тревожностями. Орио, играя жизнью своих друзей и своей собственной, казался духом тьмы, смеющимся адским смехом среди мучений, которые испытывает сам и которым подвергает других.

Разговор новой группы кавалеров и дам естественным образом связался с тем, который был прерван на балконе появлением Арджирии. Любовь — всегда главная тема бесед, в которых участвуют женщины. Как только оба пола встречаются в каком-нибудь узком кругу, они с равным интересом и увлечением обсуждают ее, и, кажется, это началось еще с тех времен, когда род человеческий едва научился выражать свои мысли и чувства словами. Различные теории высказываются с самыми удивительными оттенками в зависимости от возраста и опыта говорящих и их слушателей. Если бы каждый из

выражающих столь различные суждения был вполне искренен, то человек философически мыслящий — я не сомневаюсь в этом — мог бы по их взглядам на свойства любви составить себе мнение о свойствах их интеллекта и нравственной природы. Но в этой области никто не бывает искренним. В любви у каждого своя заранее выученная и приспособленная к склонностям слушателей роль. Так, мужчины всегда хвастают — и насчет хорошего и насчет худого. Сказать ли мне, что женщины...

— Ничего тебе нельзя говорить, — прервала его Беппа, — ведь аббату не положено знать женщин.

— Арджирия, — смеясь, продолжал аббат, — воздержалась от вмешательства в разговор, как только он оживился и в особенности когда было названо лицо, которое дама с балкона предложила благородному обществу обсудить; услышав произнесенное ею имя, прекрасная Эдзелини вся вспыхнула, но затем смертельная бледность сразу же спустилась с ее чела до самых уст. Собеседница Арджирии, однако же, слишком увлеклась своим собственным щебетом, чтобы обратить на это внимание. Нет людей более нескромных и менее чутких, чем те, которые пользуются репутацией остроумных. Им бы только поговорить, они совершенно безразличны к тому, что их речь может случайно уязвить слушателей. Это совершенные эгоисты: они не способны приглядеться к тому, какой след оставляют их слова в душе другого человека, ибо привыкли никогда не вызывать сколь-нибудь серьезного отклика и всегда рассчитывают на то, что содержание их речей простится им за блеск формы. Дама становилась все настойчивее и настойчивее, она уже готовилась торжествовать победу и, не довольствуясь молчанием Арджирии, которое объясняла недостатком ума у нее, стремилась во что бы то ни стало вырвать какой-нибудь нелепый ответ, столь неуместный всегда в устах молодых девушек, если их неосведомленность не скрашена и не освящена изысканной чуткостью и осмотрительной скромностью.

— Ну что же, прелестная моя синьорина, — сказала наконец коварная расточительница комплиментов, — выскажитесь по поводу этого трудного случая. Истина, говорят, глаголет устами младенца, а тем более — устами ангела. Вопрос таков: может ли мужчина,

потерявший жену, остаться неутешным, и утешится ли мессер Орио Соранцо в будущем году? Мы считаем вас третейским судьей в этом деле и ожидаем вашего приговора.

Это прямое обращение и все сразу обратившиеся к ней взгляды до крайности смутили прекрасную Арджирию. Однако, сделав над собой величайшее усилие, она успокоилась и ответила голосом, слегка дрожащим, но достаточно громким, чтобы его все слышали:

— Что я могу сказать об этом человеке, которого презираю и ненавижу? Вам, синьора, наверное, неизвестно, что я считаю его убийцей моего брата?

Этот ответ прозвучал как удар грома, и все молча переглянулись, ибо из осторожности говорили о Соранцо иносказательно, а если и называли его имя, то шепотом. Всем было известно, что он находится тут же, и только Арджирия, хотя и сидела в двух шагах от него, не видела Орио, скрытого от нее головами гостей, старавшихся придвинуться к ней поближе.

Но Соранцо не слышал этого разговора. Ему предстояло метать кости, и все предосторожности были ни к чему. Его имя можно было громко выкрикивать над самым его ухом, он бы не обратил на это внимания, — ведь он играет! Дело как раз доходило до кульминационного пункта в партии с такой огромной ставкой, что, желая соблюсти приличие, игроки называли цифру шепотом. В те времена азартная игра осуждалась положительными людьми и даже ограничивалась законом, почему хозяева дома и просили гостей проявлять в ней некоторую умеренность. Орио был бледен, холоден и словно застыл на месте. Его можно было принять за математика, занятого решением трудной задачи. Он обладал невозмутимым спокойствием и презрительным равнодушием, которые так свойственны отчаянным игрокам. Он даже не заметил, что зал наполнился людьми, не имеющими отношения к игре, и не поднял бы глаза, даже если бы перед ним распростерлись все гурии Мухаммедова рая.

Почему же слова прекрасной Арджирии вывели его внезапно из летаргии и, услышав их, он подскочил, словно кто-то нанес ему удар кинжалом?

Существуют загадочные эмоции и необъяснимые душевные движения, от которых начинают звучать самые тайные струны души.

Арджирия не назвала ни Орио, ни Эдзелино. Но слова *убийца* и *брат*, словно по волшебству, открыли виновному, что речь идет о нем и о его жертве. Он не видел Арджирии, не знал, что она поблизости. Как же он вдруг понял, что это голос сестры Эдзелино? Но он понял, — все это увидели, хотя никто не мог бы объяснить, как это до него дошло.

Голос Арджирии словно вонзил в его внутренности докрасна раскаленный клинок. Он побагровел, поднялся, как будто его ударило электрическим током, швырнул свой рожок для костей на стол, а самый стол оттолкнул так резко, что он едва не опрокинулся на противника Орио в игре. Тот тоже встал, считая себя оскорбленным.

— Что ты делаешь, Орио?! — вскричал один из партнеров Соранцо, чье внимание не было отвлечено от игры появлением Арджирии и ее спутников, и тотчас же накрыл кости ладонью, чтобы они не перевернулись. — Ты выигрываешь, друг, ты выигрываешь! Всех беру в свидетели! Десять очков!

Орио не слышал его. Он стоял, повернувшись лицом к той группе гостей, откуда раздался голос Арджирии. Рука его, опиравшаяся на спинку стула, конвульсивно дрожала, и от этого дрожал стул. Его вытянувшаяся шея напряглась и одеревенела от ужасного волнения, блуждающие глаза метали пламя. Видя, как над головами смущенных гостей возникло это бледное, дышащее угрозой лицо, Арджирия испугалась и едва не лишилась чувств, но тотчас же овладела собой и с грозной твердостью во взгляде встретила взгляд Орио. В выражении лица Орио и особенно в его глазах была какая-то неборимая пронизательность, то пленяющая, то устрашающая, в которой и заключалась тайна его власти над людьми. Единственным, кого этот взгляд не заморозил, не устрасил и не обманул, был Эдзелино. В твердом упорстве его сестры Орио встретил то же недоверие, ту же холодность, тот же мятеж против его магнетической власти. Эдзелино вызывал у него всегда такую ненависть и досаду, что он не выносил его даже независимо от каких-либо опасений. Он ненавидел его просто так, инстинктивно, по необходимости, потому что боялся его, потому что в этом невозмутимом и справедливом человеке он почуял подавляющую силу, перед которой бессильна была вся мощь его коварства. С тех пор как Эдзелино не стало, Орио считал себя повелителем мира, но он всегда видел во сне, как тот мстит за Джованну. И вот сейчас ему показалось, что он переживает сон наяву.

Арджирия отличалась удивительным сходством с братом. Что-то от него было и в ее голосе, а голос Эдзелино был необычайно приятен для слуха. Эта красивая девушка, одетая в белое и бледная, как ее жемчужное ожерелье, казалась ему одним из тех образов наших сновидений, в которых два реальных человека сливаются в одно лицо. Это был Эдзелино в образе женщины, это были Эдзелино и Джованна, обе его жертвы в одном существе. У Орио вырвался громкий крик, и он упал на пол.

Друзья бросились поднимать его.

— Пустяки! — сказал его партнер по игре. — У него случаются такие припадки, с тех пор как трагически погибла его жена. Бадозэр, продолжайте играть! Сейчас я займу место Соранцо, а через какой-нибудь час он и сам придет.

Игра продолжалась, как будто ничего не произошло. Дзульяни и Гритти унесли Соранцо на террасу Хозяин дома, которого сразу же оповестили о случившемся, последовал за ними в сопровождении нескольких слуг. Послышались приглушенные крики, какие-то странные и страшные звуки. Тотчас же все двери, выходившие на балконы, были поспешно закрыты. С Соранцо, без сомнения, приключился какой-то ужасный припадок. Музыкантам велено было играть, и звуки оркестра заглушили эти зловещие звуки. Однако страх словно заморозил радость во всех сердцах. В воображении гостей эта мучительная сцена, которую от бального зала отделяли только стекло окна и завеса, была еще отвратительнее, чем если бы она происходила у них на глазах. Несколько женщин лишились чувств. Воспользовавшись всеобщим смятением, прекрасная Арджирия удалилась вместе со своей теткой.

— Я, — сказал молодой Мочениго, — видел, как рядом со мной на поле сражения гибли сотни людей, стоившие Соранцо. Но в пылу битвы человек наделен каким-то безжалостным хладнокровием. А здесь несоответствие этой сцены общему веселью до того ужасно, что, по-моему, я никогда еще не был так взбудоражен, как сейчас.

Все столпились вокруг Мочениго. Известно было, что он сменил Соранцо в командовании у Лепантского пролива и мог многое знать о загадочных и столь по-разному передаваемых событиях этого периода жизни Орио. Молодого офицера стали засыпать вопросами, но он отвечал весьма осторожно, стараясь быть как можно более честным.

— Я, по правде говоря, не знаю, — сказал он, — чем вызвано было странное бездействие Соранцо во время его управления островами Курцолари — любовью к жене или болезнью вроде этой, как видно очень серьезной. Как бы то ни было, но храбрец Эдзелино и весь его экипаж были разгромлены на расстоянии трех пушечных выстрелов от замка Сан-Сильвио. Это несчастье следовало предвидеть, и его можно было предотвратить. Может быть, я отчасти виноват в сцене, которая здесь только что произошла, ибо синьора Меммо потребовала у меня самых достоверных сведений и я передал ей все те факты, которые узнал из уст наиболее верных свидетелей.

— Это был ваш долг! — закричали со всех сторон.

— Разумеется, — продолжал Мочениго. — И я выполнил его так беспристрастно, как только мог. Синьора Меммо и вся их семья сочли своей обязанностью сохранять молчание. Но юная сестра графа не смогла сдержать своего иступленного горя. Она в таком возрасте, когда негодуешь, ни с чем не считаешься, и страдаешь безо всякой меры. Всякий другой человек был бы достоин осуждения за то, что дал сегодня такой жестокий урок Соранцо. Только ее огромной любовью к брату да ее молодостью можно извинить столь несправедливую вспышку Соранцо...

— Довольно говорить обо мне, — произнес чей-то низкий голос у самого уха Мочениго. — Благодарю вас.

Мочениго сразу умолк. Ему показалось, будто свинцовая рука опустилась на его плечо. Все заметили, как он внезапно побледнел и как какой-то высокий человек сперва наклонился к нему, а затем сразу же затерялся в толпе. Неужто Орио Соранцо уже пришел в себя? Кричали со всех сторон. Гости хлынули в игорный зал. Он оказался уже переполненным. Игра возобновилась с еще большим азартом. Орио Соранцо сидел на своем прежнем месте и метал кости. Он был очень бледен, но лицо его было спокойно, и только розоватая пена у его усов выдавала, что он только сейчас необычайно быстро справился с тяжелым припадком. Он играл до утра и все выигрывал, выигрывал, хотя везение уже начало надоедать ему: как настоящий игрок, он был жаднее до сильных ощущений, чем до денег. Теперь Орио уже не уделял игре особого внимания и наделал много ошибок. На рассвете он удалился, кляня фортуна, которая, по его словам, всегда бывала милосердна к нему невпопад. К тому же он пошел пешком, забыв, что

у дверей палаццо его ждет гондола, и, нагруженный золотом, так что ему было трудно идти, медленным шагом возвратился домой.

— Боюсь, что он все-таки еще нездоров, — сказал, провожая его взглядом, Дзульяни, бывший если не другом Орио (у него не было друзей), то, во всяком случае, усерднейшим собутыльником. — Идет один, обремененный металлом, чей звон призывнее, чем голоса сирен. Еще довольно темно, улицы пустынные, и он может повстречаться с опасными людьми. Жалко будет, если эти полновесные цехины попадут в руки негодяев.

С этими словами Дзульяни велел своим слугам ждать его в гондоле у палаццо Соранцо, а сам побежал за Орио и настиг его у небольшого моста Баркарол. Орио стоял, прислонившись к парапету, и что-то бросал в воду, внимательно следя за тем, как оно падает. Подойдя совсем близко, Дзульяни увидел, что Орио с самым серьезным видом пригоршнями сеет в канал золотые монеты.

— Да ты рехнулся?! — вскричал Дзульяни, пытаясь удержать его. — А с чем ты будешь играть завтра, несчастный?

— Не видишь ты, что это золото меня обременяет? — возразил Орио. — Я весь вспотел, пока тащил его сюда. Вот и поступаю как тонущий корабль: бросаю свой груз в море.

— Ну, а я встречный корабль, который примет на борт твой груз и поможет тебе добраться до гавани. Давай-ка сюда свои цехины и руку дай, если ты устал.

— Подожди, — с каким-то оступелым видом промолвил Соранцо, — не мешай мне бросить еще несколько пригоршней этих «дожей» в канал. Оказывается, это очень большое удовольствие, а найти новую заботу — совсем не пустяк.

— Клянусь телом Христовым, пропади моя душа, если я на это соглашусь! — вскричал Дзульяни. — Ты бы хоть подумал, что часть этого золота — моя.

— Правда, — сказал Орио, отдавая ему все, что при нем было. — Но, ей-богу же, мне взбрело на ум поднять тебе одну ногу и опрокинуть тебя вместе с твоим грузом в канал. Так даже вернее будет, если и ты и груз вместе пойдете ко дну.

Дзульяни рассмеялся и, когда они двинулись дальше, сказал:

— Ты, значит, очень уверен, что выиграешь завтра, если сегодня хочешь все потерять?

— Дзульяни, — ответил Орио, после того как шел некоторое время молча, — знай, что я больше не люблю игру.

— А что ж ты любишь? Пытку?

— И ее не люблю, — произнес Соранцо мрачным тоном с какой-то ужасной улыбкой. — Это мне еще больше опостылело, чем игра.

— Клянусь святой матерью нашей, инквизицией, ты меня просто пугаешь! Неужто у тебя иногда бывают ночные дела во Дворце дожей? Или служитель святой инквизиции приглашает тебя порой отужинать с заплочным мастером? Ты что — участвуешь в заговоре или в секте какой-нибудь или ходишь по временам для удовольствия смотреть, как с людей сдирают кожу? Если ты в чем-то таком заподозрен, так говори прямо, и мы распрощаемся. Ибо я не люблю ни политики, ни схоластики, а красные чулки палача имеют очень уж резкий оттенок — он мне режет глаза.

— Ты дурак, — ответил Орио. — Тот палач, о котором ты говоришь, просто медоточивый умник, который сочиняет пресные сонеты. Есть другой, лучше знающий свое дело, он еще живее сдерет с тебя кожу. Это скука. Ты с ней знаком?

— А, ну отлично; это, значит, просто метафора. Ты нынче утром в мрачном настроении — последствие твоего нервного припадка. Выпил бы лучше, чтобы рассеяться, добрый стакан хиросского вина.

— Вино стало безвкусно, Дзульяни, и никакого действия не оказывает. Кровь застыла в жилах виноградной лозы, а земля стала просто бесплодной грязью, не способной родить даже какие-нибудь яды.

— Ты говоришь о земле как истый венецианец. Земля — это груда обтесанных камней, на которой произрастают люди и устрицы.

— И пустые болтуны, — подхватил Орио, останавливаясь. — Мне хочется умертвить тебя, Дзульяни.

— А зачем? — весело осведомился тот, даже и не подозревая, насколько Соранцо, снедаемый кровожадным бешенством, способен поддаться порыву ярости.

— Черт возьми! — ответил Орио. — Да хотя бы для того, чтобы посмотреть, приятно ли убить человека просто так, безо всякой выгоды.

— Ну так случай неподходящий, — в тон ему подхватил Дзульяни, — у меня карманы набиты золотом.

— Оно мое! — сказал Соранцо.

— Не знаю. Ты свою часть выбросил в каналетто, и сейчас мы с тобой сосчитаемся. Может еще оказаться, что ты мне должен. Так что не убивай меня, не то получится убийство ради ограбления, а тут ничего нового нет.

— Горе вам, синьор, если вы желаете меня оскорбить! — вскричал Орио, в мгновенном порыве ярости хватая приятеля за горло.

Ему и в голову не пришло, что Дзульяни говорил просто так, не вкладывая в свои слова никакого намека. Мучимый угрызениями совести, он повсюду чувал опасность или обиду и в своем душевном смятении постоянно рисковал выдать себя из страха перед другими.

— Не жми так сильно, — спокойно сказал Дзульяни, принимавший все это за шутку. — Я-то еще не получил отвращения к вину и вовсе не хочу, чтобы мне было трудно глотать.

— Какое унылое утро! — произнес Орио, равнодушно разжимая руки; он так часто боялся разоблачения, что уже не радовался, оказываясь в безопасности, и даже не замечал этого. — Солнце стало таким же бледным, как луна. С некоторых пор в Италии уже не бывает тепло.

— В прошлом году ты говорил то же самое о Греции.

— Но посмотри, какая белесая и некрасивая заря! Небо желтое, как желчь.

— Ну и что ж! Хоть какое-то разнообразие по сравнению с кроваво-красными лунами, которые ты поносил в Корфу. Ты никогда ничем не доволен. И солнце и луна у тебя в немилости. Чему удивляться, раз ты охладел и к игре? Послушай, скажи по правде — неужто ты ее разлюбил?

— Ты разве не замечаешь, что с некоторых пор я беспрерывно выигрываю?

— Это-то тебе и противно? Давай поменяемся! Я только и делаю, что проигрываю, и мне это чертовски надоело.

— Игрок, который совсем не проигрывает, и пьющий человек, который не пьянеет, одно и то же.

— Орио, хочешь знать правду? Ты спятил. Ты запустил свою болезнь. Надо бы тебе кровь пустить.

— Я больше не люблю кровь, — как-то озабоченно ответил Орио.

— Да я и не говорю, чтоб ты ее пил! — с раздражением возразил Дзульяни.

В этот момент они дошли до палаццо Соранцо. Гондолы их находились уже там. Дзульяни решил проводить Орио до постели; он считал, что приятель в жару, и боялся, чтоб тот не упал на лестнице.

— Оставь меня, убирайся! — сказал Орио на пороге своей спальни. — Ты мне надоел.

— Взаимно, — ответил Дзульяни, входя все же в комнату. — Но я должен избавиться от этого золота, и нам надо произвести раздел.

— Бери все и оставь меня! — сказал Соранцо. — Не хочу я и смотреть на золото, ненавижу его. Не понимаю даже, на что оно годится.

— Вот тебе на! Да на все, что угодно! — вскричал Дзульяни.

— Если бы можно было купить за деньги хотя бы сон! — мрачно произнес Орио.

И, взяв товарища за руку, он отвел его в угол комнаты, где Наам, завернувшись в белый шерстяной плащ, лежала на шкуре пантеры и спала таким глубоким сном, что не проснулась и при появлении своего господина.

— Смотри! — сказал Орио Дзульяни.

— А кто это? — спросил тот. — Твой египетский паж? Будь он женщиной, я бы его у тебя похитил. А так — что мне с ним делать? По-христиански он не говорит, и, проживи я хоть тысячу лет, я бы все равно не понял, что он, басурман, лопочет.

— Посмотри, скотина несчастная! — сказал Орио. Посмотри на этот гладкий лоб, спокойный рот, глаза, мирно затененные веками! Посмотри, что такое сон, что такое счастье!

— Принимай опиум, и тоже заснешь, — сказал Дзульяни.

— Зря стал бы его пить, — возразил Орио. — Знаешь ты, что дает этому мальчику возможность так глубоко спать? То, что он никогда не обладал ни единой золотой монетой.

— Какие ты сегодня заводишь нудные и наставительные речи, — сказал, зевая, Дзульяни. — Ладно, будешь считать? Нет? Тогда я стану считать один, и не пеняй, даже если я обнаружу, что всю свою часть выигрыша ты выбросил под мост Баркаррол.

Орио пожал плечами.

Дзульяни сосчитал, и для Орио выделилась еще очень значительная сумма, которую молодой человек и выдал приятелю самым щепетильным образом. Затем он удалился, пожелав Орио отдохнуть и посоветовав прибегнуть к кровопусканию. Орио ничего не ответил, а, оставшись один, собрал все цехины, раскиданные по столу, и ногой затолкал их под ковер, чтобы не видеть. Действительно, один вид золота вызывал у него возраставшее с каждым днем физическое отвращение, которое, конечно, было в нем признаком одного из ужасных душевных заболеваний, принимающих некое вещественное обличье в своих проявлениях. Не одни лишь золотые монеты вызывали у него это болезненное отвращение. Он не мог видеть блеска стального клинка или женских драгоценностей, без того чтобы перед ним не возникали зримо, если можно так выразиться, зверства, совершенные им, когда он был ускоком. Он скрывал свои муки и даже совсем залушал их, когда необходимость действовать подхлестывала его скудеющую кровь. Вместе с Морозини он провел новую кампанию, ту славную экспедицию, когда венецианский флот водрузил свое победоносное знамя над Пиреем. Понимая, что все уважение, которым он может пользоваться в дальнейшей своей жизни, зависит от его поведения в этих обстоятельствах, Орио совершал чудеса доблести. Он полностью смыл позор, которым запятнал себя как губернатор Сан-Сильвио, и принудил всю армию говорить, что если он и был плохим администратором, то, во всяком случае, это не мешало ему быть отличным командиром и храбрым воином.

Сделав это последнее усилие, Орио, достигший успеха во всех своих предприятиях, всеми прославляемый, любимый адмиралом как родной сын, Орио, избавившийся от всех своих врагов и богатый сверх всяких надежд, возвратился на родину и решил впредь не покидать ее, чтобы полностью наслаждаться плодами своих ужасных дел. Но тут-то правосудие божеское и покарало его, лишив всей былой силы характера. Оказавшись на высотах своего нечестивого благополучия, он вдруг как-то оглянулся на самого себя, и мучительная тоска овладела им именно тогда, когда он намеревался жить так, как мечтал. Он совершил все, на что способны были дерзновенность и злость его натуры, он стал внушать самому себе, что он конченный человек и что, добившись успеха в своих безумных замыслах, он может увидеть лишь закат своей звезды. Все было кончено, он ничем не мог

наслаждаться. Могущество денег, жизнь в безудержном распутстве, отсутствие забот, о чем он так мечтал, превосходство в роскоши и мотовстве надо всеми людьми его круга — вся эта позорная и бесстыдная суэта, ради которой он принес гекатомбу, способную насытить самый ад, обнаружилась перед ним во всей своей тщете, и в тот миг, когда для него прошли забава и опьянение, глаза его раскрылись и он увидел весь ужас своих преступлений. Они встали перед ним во весь свой рост и показались ему отвратительными — разумеется, не с точки зрения нравственности и чести, а с точки зрения разума и личной выгоды. Ибо нравственность Орио понимал как совокупность условных правил взаимного уважения, которые выработал для робких людей их собственный страх друг перед другом. Честью же он считал глупое тщеславие людей, которые не удовлетворены тем, что в их доблести верят другие, и хотели бы сами в них верить. Наконец, под личной выгодой — своей личной выгодой, конечно, — он разумел возможность в наибольшей степени пользоваться всеми известными ему благами: независимостью для себя, властью над другими, торжеством своей дерзости, благополучия и ловкости надо всеми робкими и завистливыми душонками, из которых, по его мнению, состоял весь мир.

Легко убедиться, что этот человек под жизненными благами подразумевал только те, которые дают людям возможность *казаться*, и поскольку в Италии принят такой способ выражения, мы добавим, что те внутренние радости, благодаря которым человек может чем-то *быть*, были ему совершенно неведомы. Как все люди, наделенные этим особым темпераментом, он и не подозревал о существовании того внутреннего удовлетворения, которое дают благородным душам даже в величайших бедствиях и жесточайшем угнетении их чистая совесть, здравый рассудок и добрые влечения. Он полагал, что общество может обеспечить душевный мир тому, кто его обманывает, чтобы лучше использовать. Он не знал, что общество бессильно отнять этот душевный мир у того, кто бросает ему вызов, чтобы ему же лучше послужить.

Но Орио понес кару именно в том, ради чего грешил. Внешний мир, которому он все заклал в жертву, рухнул вокруг него, и все вещественные блага, которыми он, казалось, уже обладал, рассеялись, как сонные грезы. В нем заложено было некое слишком явное

противоречие. Презрение к другим, лежавшее в основе его мироощущения, не могло научить его уважать самого себя, — ведь это самоуважение должно было основываться на уважении к нему других, которое он всегда мог легко утратить. Так он и вертелся в заколдованном кругу: потирал себе руки от удовлетворения, что провел всех, и тотчас же вслед за тем бледнел от страха, что повстречает обвинителей.

Именно этот страх, что все содеянное им обнаружится, лишал его ощущения безопасности, отравлял малейшую радость и действовал на него так же, как угрызения совести. Раскаяние в человеке всегда предполагает, что до преступления он был честным. Орио, которому всегда было чуждо чувство справедливости, не ведал раскаяния. Так как он ни к кому не был по-настоящему привязан, не имел он и никаких сожалений. Но у него были неистовые страсти, ненасытные потребности, а между тем он видел, что все его наслаждения весьма плохо обеспечены, ибо, порвись одна только нить в сети, которой он оплел свой мир, и вся сеть мгновенно распустится. И вот ему уже казалось, что вся толпа, которую он так ненавидел, так подавлял своей роскошью, так унижал презрением, так осмеивал, так обыгрывал, так обкрадывал, сбрасывает это наваждение, поднимает голову и, встав перед ним словно гидра, платит ему обидой за обиду, презрением за презрение.

В Венеции не было ни одной купеческой семьи, у которой ускок не отнял бы хоть одного ее члена либо более или менее значительной части имущества. Чудно было видеть, как все эти охваченные гневом и отчаянием люди не осмеливаются негодовать на беспечность бывшего губернатора Сан-Сильвио и то ли из уважения к сыну Peloponesiaco ³, то ли во внимание к воинским подвигам, которые он совершил до и после своих ошибок во время губернаторства, то ли из страха перед его влиянием, которое всегда обеспечивается богатством, подавляли свой ропот и хранили осторожное молчание. Но какая разразилась бы гроза, если бы правда когда-нибудь восторжествовала!

Одна эта мысль вызывала у преступника тягостный кошмар. Он видел толпы народа, побивающие его вместо камней головами, отрубленными его ятаганом. Взбешенные матери раздавливали его окровавленными телами своих детей. Алчные руки разрывали ему внутренности, ища в них поглощенных им сокровищ. И наконец все

эти жертвы живыми выходили из своих могил и плясали вокруг него с ужасным смехом.

— Ты лжец и отступник! — кричал ему Фремио. — Это мне наследовать твоё имущество и твою славу!

— Ты негодяй самого низкого разбора, грубый подмастерье, — говорили Леонцио и Медзани. — Твоя отравка бессильна, мы живы, мы тебя обвиняем и будем пытаться собственными руками!

А затем приходил черед Джованны. Она появлялась и возвращала ему притупленный кинжал.

— Ваша рука не может меня убить, она слабее женской руки.

Наконец возвращался Эдзелино под звуки фанфар, на роскошно убранном корабле; сойдя со сходней прямо на Пьяцетту, он приказывал повесить труп Орио на колонну со львом святого Марка. Но веревка лопалась, Орио падал на мостовую, разбивал себе череп, и его борзой пес Сириус пожирал дымящийся мозг.

Как перечислить все формы, которые принимали эти его видения, порожденные страхом? Видя, что ужасы, ожидающие его в сновидениях, хуже мыслей, Орио попытался жить так, чтобы не иметь необходимости во сне. Он начал поддерживать себя всевозможными возбуждающими средствами, которые давали бы ему возможность не уходить из реального мира и в любое время суток лишь мыслью бороться с грозными последствиями своих преступлений. Но здоровье его не устояло против такого образа жизни. Разум помутился, и даже в часы бодрствования призраки стали донимать его, более устрашающие и грозные, чем даже во сне.

В этот период своей жизни Орио был несчастнейшим из людей. Тщетно пытался он вновь обрести ночной отдых. Было уже слишком поздно: его кровь оказалась до того испорченной, что для него ничто не происходило так, как для прочих. Снотворные средства не успокаивали его, а наоборот — возбуждали, возбуждающие не давали веселья, а лишь усиливали подавленность. По-прежнему погруженный в разврат, он находил в нем только скуку. По его же собственным словам, это был дьявольский инструмент, чьи звуки часто кружили ему голову, но теперь он играл так фальшиво, что лишь увеличивал его страдания. Во время пышных ночных ужинов, окруженный самыми веселыми распутниками и самыми красивыми куртизанками Италии, он не в состоянии был преодолеть своей

мрачной озабоченности. Он оставался угрюмым и подавленным даже в часы вакхического исступления, когда все участники пира, возбужденные вином, совместно достигают апогея в своем пьяном веселье. И органы его и мозг были настолько пресыщены, что он не мог следовать за другими в этом крещендо.

Только под утро, когда нервное возбуждение его собутельников спадало, усталые головы клонило ко сну, и он, таким образом, оказывался в полном одиночестве, — только тогда и на нем начинало сказываться опьянение. И вот все эти мужчины, отупело глядящие на свои кубки с вином, все эти женщины, спящие на диванах, производили на него впечатление скотного двора. Он осыпал их бранью, на которую они уже не в состоянии были отвечать, и на него находил такой приступ бешенства и злобы, что им овладевал соблазн отравить их всех и поджечь свой дворец, чтобы избавиться и от них и от самого себя.

К тому времени, когда произошла только что описанная мною сцена во дворце Редзониго, он уже с некоторых пор отказался от ночных оргий, ибо его болезнь настолько усилилась, что ему небезопасно было напиваться допьяна при свидетелях. Когда в пьяном бреду ему являлись грозящие призраки, у него зачастую вырывались слова, проникнутые ужасом. Однако ни у кого не возникло никаких подозрений, ибо чем крепче люди верили в любовь Орио к Джованне, тем легче было им представить себе, что трагическое событие, при котором она погибла, оставило в нем страшную память и нарушило его душевное равновесие. Все были так уверены в его горе, что он мог бы сам себя обвинить перед венецианским сенатом в убийстве жены и друзей, и ему бы не поверили. Его сочли бы обезумевшим от отчаяния и передали бы в руки врачей. Но Орио уже не рассчитывал на свою счастливую судьбу: он боялся всех, а себя самого больше, чем кого бы то ни было. Он стыдился своей болезни и бесился от своей неспособности скрыть ее, он краснел за себя, с тех пор как его физическое существо претило ему, оказавшись далеко не таким уравновешенным и сильным, как он рассчитывал. Целыми часами осыпал он себя бранью и проклятиями, ругал себя идиотом, слабосильным, отбросом и тряпкой, и однако — неслыханное дело! — ему и в голову не приходило обвинить свое нравственное существо. Он несколько не верил в небесную природу своей души. Из плоти

своей сотворил он себе кумира, а когда идол этот рухнул, он стал презирать его и поносить, как сплошную грязь и отраву.

Последней угасла в нем страсть, бывшая в его жизни самой сильной, — страсть к игре. И к ней отвращение у него вызвал страх, ибо, предаваясь ей, он вынужден был принимать теперь докучные и утомительные предосторожности, а это в конце концов пересилило само наслаждение игрой. Предосторожности эти были двоякого рода. Во-первых, законы против азартных игр потеряли силу не в такой мере, чтобы уже совсем не требовалось окружать игры некоторой тайной. Во-вторых, когда Орио проигрывал, — а это были для него самые возбуждающие моменты, — ему приходилось сдерживать себя и действовать осмотрительно, чтобы не выйти за те пределы, которых, по мнению общества, достигало его состояние.

Таким образом, и огромное богатство его не служило ему так, как он хотел бы. Он вынужден был скрывать его и понемногу вытаскивать из своих подвалов столько золота, сколько было нужно для того, чтобы чересчур роскошная жизнь не привлекла внимания властей. Единственное, что он мог еще делать, — это растрачивать свои доходы в тайных оргиях и разоряться медленно. Между тем такой способ наслаждаться жизнью был ему противен: он хотел бы все растратить в один день, чтобы о нем говорили как о человеке самом расточительном и самом бескорыстном в мире. Если бы он мог удовлетворить эту свою причуду и разориться в пух и прах, он, без сомнения, вновь обрел бы всю былую энергию, а преступные влечения опять привели бы его к новым злодеяниям, совершаемым для накопления новых богатств.

С течением времени он сообразил, что с его стороны безумием было возвращаться в Венецию, где, несмотря на безнаказанность любых пороков, Совет Десяти весьма строго и ревниво приглядывался к богатству граждан. Но когда у него мелькнула мысль о том, чтобы покинуть родину, другая мысль — о затруднениях и опасностях, с которыми связана была перевозка его сокровищ в иные места, — а кроме того, и в особенности, расстройство здоровья, упадок энергии удержали его, и он примирился с печальной перспективой состариться богачом и еще оставить добра племянникам.

Наутро после празднества у Редзониго, через час после того, как от него ушел Дзульяни, Орио, которому так и не удалось заснуть хоть

на несколько мгновений, разбудил своего камердинера и велел ему пойти за врачом, все равно за каким, — ведь все они, так он и сказал, одинаково невежественны. Он относился с глубочайшим презрением к медицине и к врачам, и Наам даже несколько встревожилась, видя, что он принял вдруг решение, столь противоречащее всем его привычкам и взглядам. Однако она смолчала, ибо привыкла со слепой покорностью принимать все, что могло взбрести на ум Орио. Камердинер, умный, деятельный и исполнительный, как все лакеи, имеющие возможность безнаказанно красть, привел через полчаса мессера Барболамо, лучшего в Венеции врача.

Мессер Барболамо отлично знал, с кем ему предстоит иметь дело. Он достаточно наслышался о Соранцо и готов был к любым издевкам не верящего в медицину человека и к любым причудам безумца. Поэтому он повел себя не столько как муж науки, сколько как просто умный человек. Соранцо вызвал его, побежденный тайным необоримым страхом перед смертью. Но он отдавался ему в руки, как якобы свободомыслящие доверяются колдунам: с насмешкой и презрением на устах, со страхом и надеждой в сердце.

Речи эскулапа обманули его ожидание, и через несколько минут он уже слушал его внимательно.

— Не принимайте никаких пилюль, предоставьте териак своим гондольерам, а пластыри — собакам. Галлюцинации у вас от опиума, а упадок сил от недоедания. Никакой режим не поможет умирающему, ибо вы сейчас умирающий. Но давайте договоримся: физическое существо умрет, если моральное не воскреснет. А добиться этого воскрешения очень легко, если вы поверите в то средство, которое я вам укажу. Не изменяйте сразу и резко весь свой обычный способ мышления и не лечите своей болезни тем, что вам всегда было чуждо, не гасите своих страстей. Вы жили только ими, вы умираете, потому что они ослабевают. Но отказывайтесь только от тех, которые сами по себе исчезают, и создавайте себе другие. Вы жили наслаждениями — наслаждения исчерпаны. Заставьте себя жить знанием, наукой. Вы неверующий, вы смеетесь над святынями — ходите в церковь и раздавайте милостыню!

Соранцо пожал плечами.

— Минутку! — сказал врач. — Я вовсе не предлагаю вам предаться науке или набожности. Вы могли бы преуспеть в том и в

другом — я в этом не сомневаюсь, ибо для людей вашего темперамента все возможно. Но сам я не настолько интересуюсь наукой или религией, чтобы доказывать вам их превосходство над бездельем и распутством. Я никогда не занимаюсь с больными обсуждением тех или иных вещей самих по себе. Я советую обращаться к ним ради того, чтобы отвлечься, как мои коллеги прописывают полынь или кассию. Вид книг отвлечет вас от зрелища бутылок. Вы соберете великолепную библиотеку, и ваша любовь к роскоши найдет здесь новый выход. Вы еще не знаете, какое наслаждение может дать роскошный переплет и какие безумства совершаются ради редкого издания. В церкви вы услышите песнопения — они по-новому зазвучат для вашего слуха, уставшего от непристойных песенок. Вы увидите зрелища отнюдь не менее суетные и людей ничуть не менее тщеславных, чем в светском обществе. Вы станете делать им пожертвования, которые обеспечат вам и в грядущих веках репутацию великодушного и щедрого человека, а если вы не излечитесь и не перемените своих пристрастий, она умрет вместе с вами. Таким образом, станьте своим собственным врачом, подумайте о чем-либо, чего вам еще никогда не хотелось, и тотчас же достаньте себе это. Вскоре в вас пробудятся сотни дремавших дотеле желаний, и, удовлетворяя их, вы обретете неизведанные дотепе радости. Не считайте себя преждевременно одряхлевшим: вы даже не устали по-настоящему. В вас еще хватит силы на двадцать жизней; из-за этого-то вы и убиваете себя, стараясь растратить свои силы на одну жизнь. Мир кончился бы, если бы он не обновлялся и не изменялся. Угнетенное состояние, в котором вы сейчас пребываете, — это лишь избыток жизни, ищущей нового применения. О чем это вы задумались? Вы меня не слушаете.

— Я стараюсь найти, — ответил Соранцо, покоренный рассуждениями эскулапа, — какую-нибудь причуду, которой у меня еще не было. Я ведь собирал красивые книги, хотя никогда их не читаю, и у меня великолепная библиотека. Что до церквей... о них я подумаю, но мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне найти какое-нибудь совсем новое наслаждение, что-нибудь еще более далекое от моих прежних страстей. Если б я мог стать скупцом!

— Я вас отлично понимаю, — сказал Барболамо, пораженный оупелым видом своего пациента. — Вы доходите до самой сути

вещей, до чистой основы моего рассуждения. Ибо я предлагал вам лишь новый выход для ваших страстей, а вы хотите изменить самые страсти. Лично я не имел бы возражений против скупости, однако опасаясь слишком сильной реакции от попытки перепрыгнуть через такую пропасть. Скажите, были вы когда-нибудь влюблены — простодушно и искренно?

— Никогда! — произнес Орио. Охваченный желанием выздороветь, он вдруг забыл о своей роли погруженного в отчаяние вдовца, роли, благодаря которой ему удавалось скрывать тайну своей жизни.

— Так вот, — сказал врач, несколько не удивленный этим ответом, ибо он гораздо лучше всей светской толпы разобрался в сухой и жадной душе Орио, — влюбитесь. Сперва, не будучи по-настоящему влюбленным, вы станете делать вид, будто влюблены. Потом вы вообразите, что влюбились, и наконец влюбитесь. Поверьте мне, все так и происходит по законам физиологии, которые я вам изложу, когда пожелаете.

Орио захотел немедленно узнать эти законы. Доктор прочитал ему целую лекцию, остроумную и горькую, которую невежественный и растревоженный патриций принял всерьез. Орио проникся верой во все, что наговорил ему врач, и тот удалился, пораженный чуть ли не в сотый раз за свою жизнь слабостью рассудка и страхом перед смертью, которые скрываются у светских распутников под привычным для них обликом безрассудного презрения к жизни.

В тот же день Орио, вскружив себе голову самыми сумасбродными планами и самыми ребяческими надеждами, отправился в собор святого Марка к освящению даров. Обещав ему выздоровление столь простым способом и польстив его тщеславию тем, что он похвалил его энергию, врач словно произнес магическую формулу. У Соранцо появилась надежда, что следующей ночью он будет спать.

Он слушал священные песнопения, с интересом следил за обрядами, восхищался внутренним убранством базилики, постарался не вспоминать о прошлом и не думать о внешнем мире. В течение целого часа ему удалось жить только настоящим. Для него это было уже много. Правда, ночь оказалась не лучше, чем прежде, но близилось утро. Он тешился мыслью о том, что снова пойдет в собор

святого Марка. Так же как нервнобольным людям их вера в то или иное снадобье нередко заранее приносит облегчение, так и он ощутил некую радость оттого, что впервые за столь долгое время ему предстоит приятное занятие. Эта мысль дала ему возможность проспать один час.

Пришел врач и, узнав о результатах своего предписания, сказал:

— Сегодня вы два часа проведете в соборе святого Марка и в следующую ночь будете спать два часа.

Соранцо поверил ему на слово и провел в церкви два часа. Он был совершенно уверен, что проспит два часа; поэтому так оно и случилось. Врач пришел в восторг оттого, что нашел для научного наблюдения столь бесценный объект — одного из тех людей, которым стоит лишь разжечь воображение, чтобы желаемый эффект произошел на самом деле. Из этого он сделал вывод, что физические силы Орио весьма подточены, а в душе у него не осталось ни мыслей, ни чувств. На третий день он посоветовал ему подумать о самом главном спасительном средстве — о любви. Орио вспомнил о совершенной им чудовищной неосторожности и решил на этот раз сказать, что он ведь уже любил. Врач, рассчитывая, докажет ему, что та любовь была ошибкой. И медик действительно не преминул это сделать. Он уверил Орио, будто его любовь к синьоре Морозини была одной из тех бурных страстей, которые действуют разрушительно, оставляя после себя пагубное утомление. Он посоветовал ему испытать любовь спокойную, нежную, невинную, даже платоническую, похожую на чувство семнадцатилетнего юноши к пятнадцатилетней девочке. Орио пообещал.

«Жалкое зрелище! — думал про себя доктор, спускаясь по лестнице. — Вот они каковы, эти угнетающие нас богатые и распутные патриции».

Заметьте, что дело происходило на пороге восемнадцатого века! Слово *магнетизм* еще не было придумано.

Орио, твердо решивший влюбиться в первую же молодую особу, которая повстречается ему в церкви, вошел в базилику на цыпочках, с трепещущим сердцем, правда не от любви, а от трусливого суеверия, которое внушил ему магнетизатор. Он слегка прикасался к вуалям коленопреклоненных девиц и с волнением нагибался, чтобы украдкой разглядеть их черты. О старый Гусейн! О вы все, дикие миссолунгцы!

Даже если бы вы явились в Венецию донести на своего сообщника, вам бы никогда не узнать было вашего ускока в человеке, стоящем в такой позе и занятом таким делом.

Первая девушка, которую рассматривал Соранцо, оказалась дурнушкой. Как здесь не вспомнить слова Ж.-Ж.Руссо, повествующего о том, как, придя в восторг от хорového пения монашек, он проник в монастырь, — тем более что это происходило как раз в Венеции: «София косила глазом, Каттина хромала...» и т.д.

Четвертую девицу, которую Орио пытался рассмотреть, покрывало окутывало до самого подбородка. Но сквозь вуаль и сквозь молитву она отлично увидела кавалера, старавшегося разглядеть ее. Тогда она подняла голову и, откинув вуаль, показала ему бледное прекрасное лицо, ясное чело пятнадцатилетней девушки, губы, которые дрожали от негодования, словно лепестки розы, раскачиваемой ветром. С этих уст сорвались суровые слова:

— Вы крайне дерзки.

Это была Арджирия Эдзелини. Зузуф прав: судьба действительно существует.

Орио пришел в такой трепет от тождества этого видения с тем, которое предстало ему на балу у Редзониго, в такой ужас от того, что его суеверные надежды и суеверный страх слились в одном предмете, что он не нашел слов для оправдания. Он упал, расстроенный, рядом с нею, и его отошавшие колени с громким стуком ударились о плиты пола. Затем он склонил голову до земли, поднес к губам бархатное покрывало прекрасной Арджирии и, протянув ей стилет, который венецианцы всегда носят у пояса, прошептал:

— Отомстите, убейте меня!

— Для этого я вас слишком презираю, — сказала красавица, поспешно вырывая у него из рук покрывало. И, встав с колен, она вышла из церкви.

Однако Орио не настолько еще вкусил невинной любви, чтобы утратить хладнокровную наблюдательность светского повесы, и потому он отлично заметил, что последние слова девушка произнесла как-то более принужденно, чем первые, и что пылавшие гневом глаза не без труда удержали слезу сострадания.

Орио удалился, уверенный, что жребий брошен и что выздоровление его и жизнь зависят от того, сумеет ли он использовать

представившийся случай. Всю ночь провел он, продумывая бесчисленные планы как ему проникнуть к жестокой красавице, и эти размышления разогнали привычных грозных призраков. Правда, его несколько смущало сходство Арджирии с Эдзелино, и под утро ему привиделись сны, в которых сходство это приводило к самым странным и мучительным недоразумениям и ошибкам. Несколько раз он видел, как совершается превращение сестры в брата и наоборот. Когда он брал за руку Арджирию и протягивал свои губы к ее губам, перед ним внезапно возникало мертвенно-бледное окровавленное лицо Эдзелино. Тогда он выхватывал стилет и вступал в жестокую схватку с этим призраком. Под конец ему удавалось нанести смертельный удар, но когда он бросал сраженного врага себе под ноги, он вдруг убеждался, что ошибся и заколол Арджирию.

Желание во что бы то ни стало выздороветь, а также авторитет Барболамо, под влиянием которого он теперь находился, побудили Орио к чреватой опасностями откровенности с врачом. Он рассказал ему о двух своих встречах с синьорой Эдзелини, на балу и в церкви, о враждебности, которую она к нему проявляла, и о его собственном глубоком огорчении, что он не сумел воспрепятствовать гибели благородного графа Эдзелино. При первом признании Орио Барболамо еще ничего не заподозрил. Но, став мало-помалу весьма частым посетителем своего пациента и приучив Орио откровенничать, насколько это было возможно для человека в его положении, он стал изумляться избытку чувствительности у такого эгоиста, и эта необычность стала вызывать у него странные подозрения. Однако не будем упреждать событий.

Барболамо, будучи честным и преданным гражданином своего отечества, в науке сам был великим эгоистом. Ему было гораздо важнее понаблюдать в своем больном проявления явной душевной болезни, чем побеспокоиться о том, больше или меньше будет страдать его пациент. Ему любопытно было наблюдать новые факты, и он не постеснялся сказать Орио, что его волнения являются хорошим признаком и что ему следует стараться во что бы то ни стало покорить сердце гордой красавицы именно потому, что это дело нелегкое и вызовет у него разнообразные, совершенно неизведанные эмоции.

Орио в течение целой недели преследовал Арджирию серенадами и романсами.

Можно не сомневаться в том, что серенада — отличный способ добиться успеха у дамы с тонким вкусом. В Венеции, где воздух, мрамор зданий и вода рожают такой прозрачный отзвук, ночная тишина так таинственна, а лунный свет так романтически прекрасен, романсы звучат особенно убедительно, а музыкальные инструменты издают особенно страстные звуки, возникающие словно нарочно для того, чтобы улещивать и обольщать. Поэтому серенада и является необходимым прологом ко всякому любовному объяснению. Мелодия вливает нежность в сердца и размягчает чувства, погружая их в некий полусон. Она вызывает в душе неясные мечтания, предрасполагает к жалости, первой уступке гордыни, которую умоляют о милости. Она обладает также даром разворачивать перед уснувшими взорами восхитительные образы, и мне говорила одна дама — называть ее не стану, — что неизвестный поклонник, дающий серенаду, всегда представляется, пока звучит музыка, самым любезным и очаровательным из мужчин.

— Говорите уж все, нескромный рассказчик! — прервала Беппа аббата. — Добавьте, что дама эта советовала всем, дающим серенады, никогда не показываться на глаза своему предмету.

— С Орио вышло совсем не так, — продолжал аббат. — Прекрасная Арджирия, наоборот, посоветовала ему показаться; она уронила букет цветов с балкона на озаренные луной мраморные плиты тротуара. Не удивляйтесь столь быстрой уступке. Вот как это случилось.

Начнем с того, что прекрасная Арджирия была небогата. В не слишком крупном состоянии ее брата расходы по экипировке для участия в войне произвели существенную брешь. Когда он погиб у острова Курцолари, на его галере находилась довольно значительная часть захваченной им у турок военной добычи, дарованная адмиралом и потому вполне законно ему принадлежавшая. Благородный юноша радовался возможности сделать это богатство приданым своей сестры, но оно попало в руки пиратов вместе с галерой и всем лично ему принадлежавшим. Поэтому не было у прекрасной Арджирии иного приданого, кроме ее юности и ее прелестных грустных глаз.

Синьора Меммо, тетка Арджирии, нежно любила племянницу, но в наследство она могла оставить ей только большой, несколько обветшалый дворец да привязанность старых слуг, из одной лишь преданности оставшихся при ней за самое скромное вознаграждение. Поэтому синьора Меммо, как и все тетки, пламенно желала, чтобы появился знатный и богатый жених. Зная, что ни с чем не сравнимая красота ее племянницы зажжет страсть не в одном сердце, она не одобряла ее стремления замыкаться в одиночестве и постоянно прятать «солнце своих очей» за темными занавесками балкона.

При первой серенаде Арджирия разрыдалась.

— Был бы в живых мой благородный брат, — сказала она, — никто не осмелился бы ухаживать за мной под моими окнами, не получив от моей семьи разрешения завести со мной знакомство. Не так поступают в отношении всеми уважаемого дома.

Синьора Антония, однако, нашла эту суровость чрезмерной и, заявив, что ей-то лучше знать, что можно, а чего нельзя, отказалась принудить музыкантов к молчанию. А музыка была отличная, инструменты превосходного качества, исполнители же подобраны из числа самых лучших, какие только имелись в Венеции. Почтенная дама сделала из этого заключение, что поклонник должно быть богат, знатен и щедр. Если бы в этом оркестре оказалось на две теорбы и три виолы меньше, она проявила бы большую строгость. Но серенада была безукоризненна, и ее стали слушать.

В последующие дни радость и надежда синьоры Антонии еще усилились. Арджирия сперва только терпела все это, но под конец музыка стала нравиться ей сама по себе. Случалось, что утром, причесывая перед зеркалом свои темно-каштановые волосы, она, не отдавая себе в этом отчета, напевала любовные стансы, под которые сладко заснула накануне вечером.

Составить программу серенады — это целая наука. Каждый вечер вздыхатель должен найти какой-нибудь новый оттенок для выражения своей любовной муки. После *il timido sospiro*⁴ обязательно следует *lo strale funesto*⁵. *I fieri tormenti*⁶ идут за ними, а *l'anima disperata*⁷ неизбежно вызывает на следующий день *sorte amara*⁸. На пятую ночь можно рискнуть обратиться к предмету любви на ты и назвать его *idol mio*⁹. На шестую — полагается уже негодовать на возлюбленную и

обзывать ее *crudele* [10](#) и *ingrata* [11](#). И только уж очень неловкий неудачник не дерзнет на седьмую ночь высказать слово *dolce speranza* [12](#). Наконец восьмая ночь приводит к заключительному взрыву — настоящей мольбе, в которой красавице предлагается выбор: счастье вздыхателя или его смерть. Таким образом, поклонник либо добивается свидания, либо расплачивается с музыкантами и отпускает их на все четыре стороны. Подошла и для Арджирии восьмая серенада; в третьем куплете романса певец от имени влюбленного просил подать хоть какой-нибудь знак милости, залог надежды, хоть слово или жест, которые позволили бы кавалеру расхрабриться и предстать перед возлюбленной. В тот миг, когда гордая Арджирия удалилась с балкона, где, скрытая за занавеской, она слушала певца, синьора Антония ловко сорвала букет, приколотый на груди у девушки, и бросила его прямо на гитариста, произнеся своим старческим голосом, который никак не мог скомпрометировать девушку:

— С согласия тетки.

Девичье любопытство победило стыдливую досаду на тетку, и Арджирия поспешно возвратилась на балкон и, перегнувшись через мраморные перила, незаметно приподняла занавеску — лишь настолько, чтобы видеть кавалера, поднявшего букет. Певец, профессиональный музыкант, хорошо знал обычаи и не позволил себе дотронуться до него. Он лишь вполголоса произнес: «Синьор!» и, сняв свою шапочку, скромно отступил на два шага, пока синьор поднимал брошенный с балкона залог. Увидев вырисовывающуюся в ярком лунном свете высокую фигуру, чуть-чуть согбенную, но все еще изящную и подлинно патрицианскую, Арджирия ощутила, как на лбу ее выступили капли холодного пота. Туман застлал ей глаза, колени подкосились, она едва успела убежать с балкона и броситься на кровать, где ее охватила сильнейшая дрожь. Она впала в полубоморочное состояние. Тетка не очень испугалась этого припадка, она подошла к Арджирии и принялась ласково подсмеиваться над ее чрезмерной девичьей робостью.

— Не смейтесь, тетя, — приглушенным голосом произнесла Арджирия. — Вы сами не знаете, что наделали! Я почти уверена, что узнала Орио Соранцо, этого последнего из людей, убийцу моего брата!

— Он бы не решился на такую дерзость! — вскричала синьора Меммо, тоже дрожа всем телом. — Пойди за букетом! — крикнула она своей любимой прислужнице, которая находилась тут же. — Скажи, что его уронили случайно. Что это ты... или паж... швырнул его вниз просто из шалости... что я этим очень разгневана... Иди, Паскалина... скорей...

Паскалина побежала вниз, но тщетно. Музыканты, поклонник, букет — все исчезло, и только отбрасываемая луной неясная тень колоннад то появлялась на мостовой, то исчезала по прихоти бегущих по небу облаков.

Паскалина оставила, дверь открытой. Она сделала всего несколько шагов, до набережной канала, и увидела, как гондолы с музыкантами исчезают за поворотом. Она возвратилась и старательно закрыла за собой дверь, но было уже поздно. Какой-то человек, спрятавшийся за колоннами портала, уловил момент. Легко взбежав по лестнице палаццо Меммо и идя напрямик, на неясный свет, струившийся из полуоткрытой двери, он дерзновенно проник в комнату Арджирии. Когда туда вошла и Паскалина, она застала свою юную госпожу в обмороке на руках у тетки, а на коленях перед ней — поклонника, дававшего серенаду.

Я думаю, вы согласитесь с тем, что момент был крайне не подходящий для обморока, и вместе со мной придете к заключению, что прекрасная Арджирия совершила большую ошибку, слушая эти восемь серенад. Гнев ее сменился ужасом, и Орио безошибочно разобрался в этом, хотя делал вид, что обманывается.

— Синьора, — произнес он, простираясь у ног Арджирии и протягивая букет синьоре Меммо до того, как она успела опомниться и заговорить первая, — я вижу, что ваша милость лишь по ошибке удостоили меня этой великой чести. Я на нее не надеялся, а музыкант, обратившийся к вам со столь дерзновенным стихом, сделал это без моего разрешения. Моя любовь не может быть настолько смелой, и я пришел сюда молить не о благосклонности, а о жалости. Пред вами человек, слишком униженный, чтобы позволить себе у вашего порога что-либо, кроме жалоб и стонов. Я хотел бы только одного — чтобы вы знали о моем страдании, чтобы вы были твердо уверены в том, что я не только не хочу оскорбить ваше горе, а напротив — ощущаю его еще глубже, чем вы сами. Видите, насколько я покорен и почтителен: я

возвращаю вам драгоценный залог, я готов был бы заплатить за него всей своей кровью, но похищать его не хочу.

Эти лицемерные речи глубоко растрогали добрую госпожу Меммо. Она была кроткая женщина, с сердцем слишком доверчивым, чтобы усомниться в искренности столь смиренных оправданий.

— Синьор Соранцо, — ответила она. — Я, может быть, могла бы обратиться к вам с весьма серьезными упреками, если бы сегодня не увидела в третий раз, как глубоко и чистосердечно ваше раскаяние. Я поэтому не стану обвинять вас даже про себя и обещаю вам хранить требуемое приличиями молчание; теперь оно будет стоить мне меньших усилий, чем раньше. Благодарю вас за то, что вы принесли букет обратно, — добавила она, передавая цветы племяннице. — И если я умоляю вас не появляться больше ни здесь, ни даже около моего дома, то лишь ради нашей доброй славы, а не из-за какой-либо личной враждебности.

Несмотря на свое беспамятство, Арджирия все отлично слышала. Она с большим трудом заставила себя набраться мужества и тоже заговорить. Подняв свое прекрасное бледное лицо, прижавшееся к груди тетки, она обратилась к ней:

— Дайте также понять мессеру Соранцо, дорогая тетя, что он не должен ни заговаривать с нами, ни даже кланяться нам, где бы мы ни встретились. Если его уважение и его горе искренни, то он сам не пожелает, чтобы перед нами возникали черты, так живо напоминающие нам о постигшем нас несчастье.

— Прежде чем покориться этому смертному приговору, — сказал Орио, — я прошу лишь об одной милости: пусть выслушают мою самозащиту, а затем уже судят о моем поведении. Я понимаю, что здесь не место и сейчас не время начинать это объяснение. Но я не встану с колен, пока синьора Меммо не даст мне разрешения явиться к ней в ее гостиную в указанный ею час, завтра или в другой день, чтобы снова на коленях, как сейчас, я мог попросить прощения за пролитые по моей вине слезы, но также и чтобы, стоя во весь рост и положив руку на грудь, как подобает мужчине, я мог оправдаться во всем, что есть несправедливого и преувеличенного в выдвинутых против меня обвинениях.

— Эти объяснения были бы для нас крайне мучительны, — твердо произнесла Арджирия, — а для вашей милости совершенно

излишни. Честный и великодушный ответ, который только что дала вам моя благородная тетушка, будет, я полагаю, вполне достаточен для вашей щепетильности и должен удовлетворить все ваши пожелания.

Орио настаивал на своем так умно и убедительно, что тетка уступила и разрешила ему явиться на завтра днем.

— Вы не будете в претензии, синьор, — сказала Арджирия, отвергая ту часть благодарности Орио, которая относилась к ней, — если я не стану присутствовать при этой беседе. Все, что я могу, — это никогда больше не произносить вашего имени, но увидеть ваше лицо еще хоть раз выше моих сил.

Орио удалился, изображая глубокую печаль, но находя, что дело его продвигается довольно успешно.

На следующий день между ним и синьорой Меммо состоялось длительное объяснение. Благородная дама приняла его в подчеркнута траурном туалете, ибо она уже месяц как перестала носить черную вуаль, но сегодня снова облачилась в нее, дабы дать понять Орио, что горе ее ничто не может уменьшить. Орио проявил необходимую ловкость. Он сам обвинил себя больше, чем кто-либо другой осмеливался его обвинять. Он заявил, что все сделал, чтобы смыть пятно, наложенное пагубной непредусмотрительностью на всю его жизнь. Но тщетно восстановили его честь и адмирал, и вся армия, и даже вся республика: для него самого утешения нет. Он сказал, что ужасную гибель своей жены он рассматривает как справедливую небесную кару и что после этого горестного для него события он не имел ни минуты покоя. Наконец он самыми яркими красками описал, как живо ощущает он свое бесчестие, как осудил себя на добровольное одиночество, в котором угасала его отчаявшаяся во всем душа, как глубоко его отвращение к жизни, как тверда его решимость не бороться больше с болезнью и отчаянием и покорно принять смерть. От этих его речей добрая Антония разрыдалась и, протянув ему руку, сказала:

— Будем же плакать вместе, благородный синьор, и пусть слезы мои будут для вас не укором, а знаком доверия и сочувствия.

Орио немало потрудился, стараясь говорить красноречиво и трагично. Нервы его были до крайности напряжены. Однако он сделал еще одно усилие и выдавил из себя слезы.

Правда, кое о чем он говорил по-настоящему сильно и красиво. Когда он описывал некоторые свои страдания, ему даже принесло облегчение то, что он мог под благовидным предлогом излить жалобы, которые ему с каждым днем было все труднее и труднее сдерживать. Тут он оказался настолько убедителен, что даже сама Арджирия расстроилась и закрыла лицо своими прекрасными руками. Ибо Арджирия тайком от Соранцо и от тетки спряталась за портьеру, откуда ей все было видно и слышно. К этому ее побудило какое-то неведомое дотоле непреоборимое чувство.

В течение еще целой недели Орио следовал за Арджирией словно ее тень. В церкви, на прогулке, на балу она находила его подле себя. Как только она обращала на него внимание, он робко и покорно скрывался, но как только она делала вид, что не замечает его, появлялся снова. Ибо — на о это признать

— прекрасной Арджирии скоро захотелось, чтобы он не был уж так послушен, и она старалась не смотреть на него, чтобы не обращать его в бегство.

Как могла бы она возмущаться этим его поведением? У Орио всегда был такой непринужденный вид в присутствии людей, которые могли обратить внимание на их частые встречи! Он проявлял такую восхитительную скромность, чтобы не скомпрометировать ее, и так усиленно старался показать свою покорность! Когда ей случалось уловить его взгляд, в нем была такая горькая мука и такая неукротимая страсть! Вскоре Арджирия оказалась в глубине души уже побежденной. Ни одна другая девушка не противилась бы так долго тому магическому очарованию, которое свойственно было этому человеку, когда вся мощь его колдовской воли сосредоточивалась на чем-нибудь одном.

Синьора Меммо относилась к этой страсти сперва с беспокойством, а затем с надеждой и наконец даже с радостью. Не в силах будучи сдерживаться, она без ведома племянницы назначила Соранцо второе свидание и предложила ему разъяснить его намерения или же прекратить это безмолвное преследование. Орио заговорил о браке, уверяя, что это цель его стремлений, но он надеется и на взаимную любовь и потому молит синьору Антонию замолвить за него словечко. Однако Арджирия так ревниво хранила тайну своих дум, что тетка не осмелилась обнадежить Орио. Она,

впрочем, согласилась, чтобы адмирал предпринял кое-какие шаги, и это не замедлило произойти.

Когда племянник открылся ему в своем новом увлечении, Морозини одобрил его намерения, поддержал его стремление найти в любви столь благородной девицы небесный бальзам от всех горестей и явился к синьоре Меммо, с которой у него и произошло решительное объяснение.

Видя, как твердо верит этот прославленный и высокопочтенный муж в душевное благородство своего названного сына и как он хочет, чтобы союз Орио с семьей Эдзелино покончил со всяческим недоброжелательством и враждебностью, она еле скрывала свою радость. Никогда не могла она рассчитывать на такую выгодную партию для Арджирии. Узнав о предложениях, сделанных адмиралом, Арджирия сперва пришла в ужас — главным образом от смутения и радости, которые она против воли своей ощутила. Она высказала все возражения, подсказанные ей любовью к брату, отказалась дать немедленно ответ, но согласилась принимать ухаживания Орио.

Поначалу Арджирия была с Орио холодна и сурова. Казалось, она выносит его присутствие лишь из внимания к тетке. Однако она не смогла подавить в себе глубокое сочувствие к его страданиям и душевной боли. Слыша, как этот сильный человек не перестает жаловаться на удары судьбы, видя, как душа его, если можно так выразиться, изнемогает под тяжестью своих собственных прегрешений, сестра Эдзелино ощущала, как ее великодушное сердце смягчается, а ненависть с каждым днем ослабевает. Если бы Орио попытался обольстить ее и проявил смелость, она осталась бы равнодушной и неумолимой. Но перед лицом его слабости и самоуничтожения она понемногу разоружилась. Вскоре привычка сострадать его горестям превратилась в великодушную потребность утешать, и она даже не заметила, как жалость привела ее к любви. Все же она старалась убедить себя, что преступно и постыдно было бы полюбить человека, которого она обвиняла в гибели своего брата, и что она должна все сделать, чтобы раздавить зарождавшееся в ней чувство. Но, слабая именно величием своей души, она позволила милосердию отвлечь ее от того, что считала своим долгом. Видя, что Орио с каждым днем все более удручен содеянным им злом и все пламенней раскаивается, она уже не имела мужества проявлять к

нему враждебность, и под конец в мыслях ее горестная судьба погибшего брата стала как-то связываться с горестной судьбой этого человека, обреченного на вечные угрызения совести. Затем она убедила себя, что не ощущает к Орио ничего, кроме жалости, которую должно испытывать ко всем страдальцам, и что он утратит все ее сочувствие, как только перестанет страдать. Впрочем, в этом она, может быть, и не ошибалась. Арджирия почти ни в чем не поступала как все прочие женщины, — в чувство, к которому другие примешивали бы тщеславие или желание, она вкладывала одну лишь преданность. Даже Джованна Морозини, несмотря на благородство и чистоту своей души, не избежала общей участи и кое в чем приносила жертвы мирским божествам. Она ведь сама призналась Эдзелино, что репутация Орио отчасти помогла ему произвести на нее столь сильное впечатление, а почти все остальное довершили его сила и красота. Дошло до того, что, даже сознавая все зло, которое это может ей же причинить, она предпочла человеку заведомо хорошему человеку, которого нашла обаятельным. Арджирией владели совершенно противоположные чувства. Если бы Орио предстал перед нею, как перед Джованной, юным, красивым храбрецом и распутником, гордо щеголяющим как пороками своими, так и победами, она не подарила бы ему ни единого взгляда, ни единого помысла. А сейчас в Орио ей нравилось как раз то, из-за чего восторженное отношение других женщин к нему несколько поостыло. Красота его блекла по мере того, как характер становился угрюмее. Но именно скорбная печать, наложенная на него временем и страданием, придавала ему в глазах ее особое очарование, хотя сама она и не подозревала об этом. С тех пор как с чела Орио сошел блеск гордыни и цветы здоровья и радости увяли на его щеках, лицо его приняло более задумчивое выражение, оно стало менее горделивым и более нежным. Так что те перемены в нем, которые, может быть, предохранили бы Джованну от роковой, сгубившей ее страсти, как раз и ввергли в эту страсть Арджирию. Вскоре Орио наполнил всю ее жизнь, и со свойственным ей мужеством она решила всю себя посвятить его утешению, хотя бы свет и предал ее анафеме за совершенное ею своего рода клятвopеступление.

Что касается Орио, то, уверенный теперь в своей победе, он не стремился к быстрому завершению успеха; ему хотелось понемногу

наслаждаться своими преимуществами с утонченностью пресыщенного человека, старающегося бережно относиться к новым радостям, — для него ведь осталось очень мало неизведанного. Спервоначала ему приходилось выдерживать напряженную борьбу, а поэтому — держать воображение во всеоружии и изошрять ум. Таким образом, днем он был занят, и ночью ему удавалось заснуть. Радуюсь этому счастливому результату, он сообщил о нем доктору Барболамо с благодарностью за прежние советы и с просьбой о дальнейших.

Барболамо не сразу решился посоветовать ему довести дело до женитьбы. По его мнению, было нечто глубоко печальное и омерзительно уродливое в этой математически рассчитанной любви человека с одряхлевшим сердцем и разжиженной кровью к прелестной, простодушной и щедрой на чувство девушке, которая в обмен на корыстную нежность и заранее обдуманнные порывы готова была расточить ему все богатства сильной и искренней страсти.

«Это ведь соитие жизни со смертью, света небесного с Эребом, — думал честный врач. — А между тем она любит его, верит в него, она стала бы страдать, если бы он перестал теперь добиваться ее. К тому же она надеется изменить его к лучшему, и, возможно, это ей удастся. Наконец, его состояние, которое растрачивается на увеселение беспутных собутыльников и низменных тварей, вернет прежний блеск знаменитому, но разоренному дому и обеспечит будущее этой прелестной, но бедной девушки. Все женщины более или менее тщеславны, — добавлял про себя Барболамо. — Когда синьора Соранцо заметит, что супруг ее немногого стоит, роскошь уже успеет создать ей потребности и наслаждения, которые ее и утешат. Да и, в конце-то концов, раз дело дошло до этого и обе семьи желают брака, по какому праву стал бы я ему препятствовать?»

Так рассуждал врач. И, однако, в глубине души он все же был смущен, и этот брак, причиной которого он неведомо для всех являлся, стал для него источником тайных мучительных сомнений, в которых он не умел до конца отдать себе отчет и от которых не способен был избавиться. Барболамо был постоянным врачом семьи Меммо; Арджирию он знал с детских лет. Она смотрела на него как на нечестивца, ибо он был настроен несколько скептически и надо всем готов был посмеиваться. Поэтому она всегда проявляла к нему

известную холодность, словно с детства предчувствовала, что он будет иметь пагубное влияние на ее судьбу.

Доктор знал ее поэтому не слишком хорошо. Недоумевая, что и думать об этой натуре, на первый взгляд несколько холодной и даже немного высокомерной, он в глубине своей прямой и честной души считал все же, что в выборе между нею и Соранцо не может быть никаких колебаний и заботиться надо прежде всего о слабейшем. Ему хотелось бы поговорить с Арджирией, но он не решался на это и успокаивал себя тем, что характер у нее достаточно твердый и решительный и в этом случае она вполне способна сама собой руководить.

Не зная, на чем остановиться, но не в состоянии будучи преодолеть тайного отвращения и недоверия, которые внушал ему Соранцо, он избрал средний путь: посоветовал Орио не проявлять излишней торопливости и не спешить с женитьбой.

В этом деле у Соранцо и не было никакой иной воли, кроме той, что внушал ему врач. Он слушал его с бездумной, ребяческой доверчивостью верующего, который требует от священника чудес. Как Джованна была для него лишь средством достичь успеха и благосостояния, так и в Арджирии он видел лишь средство обрести вновь здоровье. Но в этом втором случае он испытывал нечто вроде привязанности более искренней, чем в первом. Можно даже сказать, что, принимая во внимание и характер его и положение, у него было к Арджирии подлинное чувство. Любовь ведь самое гибкое из человеческих чувств. Она принимает любые формы, ее воздействие так разнообразно, как только можно вообразить, в зависимости от почвы, на которой она произросла; оттенков ее не перечислить, а следствия так же многообразны, как и причины. Иногда случается, что душа благородная и чистая не способна возвыситься до страстного чувства, и напротив — душа извращенная пламенно проникается страстью и ненасытно стремится к обладанию существом лучшим, чем она, даже не сознавая его превосходства. Орио как бы подпал под таинственные влияния божественного покровительства, которым одарено бывает существо ангельской природы. Воздух, который Арджирия очищала одним своим дыханием, был для Орио некой новой стихией, где он, как ему казалось, обретал спокойствие и надежду. Кроме того, уединенная жизнь в упоении неизведанным

чувством заменила ему распутство, еще более губительное для души, чем для плоти. Она заняла его бесчисленными нежными заботами, даровала ему разнообразные невинные наслаждения, которыми этот распутник упивался, как охотник ключевой водой или сочным плодом, после утомительного дня, проведенного в непрерывном возбуждении. Ему нравилось, что желания его обостряются от томительного ожидания: чтобы еще сильнее разжечь их, он отстранился от Наам и все мысли, осаждавшие его ночью, сосредоточил на одном предмете. Он возбуждал свой мозг лишениями, к которым чистая любовь понуждает совестливых людей, хотя на лишения эти он пошел из сознательного расчета, ради личной выгоды. Привыкший к легким победам, смелый до наглости с податливыми женщинами, хитрый льстец и бесстыдный лжец с робкими, он никогда не упорствовал в охоте на тех, что способны были к длительному сопротивлению; он терпеть не мог их и делал вид, что презирает. Поэтому оказалось, что сейчас он впервые по-настоящему ухаживает за женщиной. Он принудил себя уважать ее, и это стало для него особо утонченным наслаждением; он целиком погрузился в него, найдя здесь забвение своих грехов и нечто вроде магической безопасности, как будто осенявшей Арджирию ореолом целомудрия, изгнал духов тьмы и одолел зловредные влияния.

Арджирия, испуганная своей любовью, не смела даже самой себе признаться в том, что побеждена, и воображала, что пока она прямо не скажет об этом Соранцо, для нее еще возможно будет отступление.

Как-то вечером они сидели вместе с одним конце большой галереи палаццо Меммо; эта галерея, как все галереи венецианских дворцов, проходила через все здание, и в обоих концах ее прорезано было по три больших окна. Начало уже смеркаться, и галерея освещалась лишь серебряной лампадкой, стоящей у ног статуи мадонны. Синьора Меммо удалилась в свою комнату, выходящую на галерею, чтобы жених с невестой могли свободно побеседовать. Не переставая говорить Арджирии о своей любви, Орио подсел поближе и под конец стал перед ней на колени. Она попыталась заставить его подняться, но он, схватив ее руки, стал пламенно целовать их и при этом в безмолвном упоении не спускал с нее глаз. Арджирия уже испытала на себе власть его взгляда. Боясь слишком поддаться смятению, которое вызывал в ней этот взгляд, она отвела глаза в

сторону и стала смотреть в глубь галереи. Орио не раз видел, как женщины поступают таким образом, и, улыбаясь, ждал, пока невеста снова не переведет на него своего взора. Но ждал тщетно. Глаза Арджирии были все время обращены в одну сторону, но теперь уже не так, словно она хотела не встречаться глазами со своим поклонником, а по-другому — как будто она внимательно вглядывалась в нечто вызвавшее в ней изумление. Она была настолько поглощена созерцанием, что Соранцо встревожился.

— Арджирия, — сказал он, — посмотрите на меня.

Арджирия не ответила. Лицо ее приняло какое-то необъяснимое и действительно пугающее выражение.

— Арджирия! — взволнованным голосом повторил Соранцо. — Арджирия, любовь моя!

Услышав эти слова, она внезапно вскочила с места и с ужасом отступила от него, не меняя однако, на правления своего взгляда.

— Да что там такое?! — раздраженно вскричал Орио, тоже вставая.

Он живо обернулся, чтобы посмотреть, что же привлекло столь напряженное внимание Арджирии. И оказался лицом к лицу с Эдзелино. В свою очередь, он смертельно побледнел, и на мгновение его охватил трепет. В первый момент ему почудился один из тех призраков, что так часто жаловали его своим зловещим посещением. Но звук шагов Эдзелино и блеск его глаз доказали ему, что на этот раз он имеет дело не с бесплотной тенью. Опасность оказалась не только более реальной, но и куда более серьезной. Но если при виде призрака Соранцо мог упасть без чувств, то реальности он решил бросить вызов и потому с самым дружеским и предупредительным видом шагнул навстречу Эдзелино.

— Друг мой! — вскричал он. — Это вы? Вы, которого мы, казалось, потеряли навеки!

И он протянул к нему руки, словно желая обнять.

Арджирия, как громом пораженная, упала к ногам брата. Эдзелино поднял ее и прижал к своей груди. Но перед распростертыми объятиями Орио он с отвращением отпрянул и правой рукой указал ему на дверь. Орио сделал вид, что не понял.

— Ступайте вон! — произнес Эдзелино дрожащим от возмущения голосом, уставив на него грозный взгляд.

— Уйти мне? А почему?

— Вы сами знаете. Уходите, да поскорее!

— А если я не хочу? — продолжал Орио, вновь обретя привычную дерзость.

— Так я сумею заставить вас! — вскричал Эдзелино с горьким смехом.

— Каким же образом?

— Разоблачив вас.

— Разоблачают лишь тех, кто скрывается. А что мне скрывать, синьор Эдзелино?

— Не испытывайте моего терпения. Я согласен не то, чтобы простить вас, но отпустить. Уходите и помните, что я вам запрещаю даже пытаться видеть мою сестру. Иначе — горе вам!

— Синьор, если бы такие речи вел не брат Арджирии, а любой другой человек, он бы уже искупил их своей кровью. Вам я ничего не скажу, кроме того, что ни от кого не стану выслушивать приказаний и презираю угрозы. Я уйду отсюда не из-за вас, ибо вы здесь не хозяин, а из-за вашей уважаемой тетушки: я не хочу нарушать ее покой громкой ссорой. Что до вашей сестры, то я никогда не откажусь от нее, ибо мы любим друг друга и я считаю себя достойным получить от нее счастье и способным сделать ее счастливой.

— Вы осмелитесь когда угодно и где угодно повторить то, что вы сейчас заявили?

— Да, при всех обстоятельствах.

— Тогда приходите сюда завтра со своим дядей, Франческо Морозини, и мы посмотрим, как вы ответите на обвинения, которые я вам предъявлю. Свидетелями будут только моя тетка и сестра.

Орио шагнул по направлению к Арджирии.

— До завтра! — молвила она дрожащим голосом.

Орио закусил губы и неторопливо вышел, повторив с горделивым спокойствием:

— До завтра!

— Иисусе! Господи милостивый! — вскричала синьора Меммо на пороге своей комнаты. — Я ведь услышала голос, которого, думалось мне, никогда больше не услышу! Господи! Господи! Да кого же я вижу? Племянник!.. Сынок мой! Помолиться о тебе надо? Душеньку твою мы прогневили?

Добрая синьора зашаталась, оперлась о стену, и ее в полуобморочном состоянии удержала рука Эдзелино.

— Нет, я не призрак вашего племянника. Тетушка и ты, милая сестра моя, да признайте же меня: я ваш Эдзелино. Но господи боже мой! Прежде всего ответьте мне, я даже не знаю, радоваться ли мне нашей встрече или проклинать этот день. Человек, которого я прогнал, неужто он супруг Арджирии?

— Нет, нет! — прозвучал громкий и ясный голос Арджирии. — И не стал бы он никогда моим мужем! Какая-то пагубная пелена застлала мне глаза, но...

— Но ведь он, наверное, жених твой? — произнес Эдзелино, весь трепеща с головы до ног.

— Нет, нет, он мне никто! Я ничего не обещала, ни на что не согласилась!..

— Но этот гнусный подлец осмелился сказать мне, что вы с ним любите друг друга!..

— Он уверил меня в своей невинности, и я... я считала, что он говорит от чистого сердца. Но ты со мной теперь, брат, я люблю только с твоего согласия, я буду любить только тебя!

И Арджирия, прижавшись лицом к груди брата, спрятала слезы радости и горя.

Предоставим же этой семье, и счастливой и в то же время расстроенной, предаваться взаимным изливаниям и рассказывать друг другу все, что случилось и с одним и с другими после столь жестокой разлуки.

Проявив в разговоре с Эдзелино мужество отчаяния, Орио устремился к себе домой с уверенностью и поспешностью человека, который рассчитывает обрести спасение в одиночестве. Вся сила его ушла в мускулы, и, ощущая свой собственный быстрый шаг, он вообразил, что ему, как прежде, поможет один из тех адских приливов вдохновения, которые находили на него в трудном положении. Но, очутившись в своей комнате, наедине с собой, он убедился, что в голове его пустота, в душе полный разлад, а положение, в котором он оказался, отчаянное. Он понял это и в невыразимой тоске принялся ломать руки, восклицая:

— Я погиб!

— Что случилось? — спросила Наам, выходя из угла комнаты, где она постоянно находилась и куда словно выросла, как растение.

Орио не имел обыкновения открываться перед Наам, когда у него не было необходимости использовать ее преданность. А что она могла сделать для него в этот миг? Ничего, разумеется. Но Орио был сейчас в таком ужасе, что невольно искал помощи хотя бы в сочувствии другого человека.

— Эдзелино жив! — вскричал он. — И намеревается на меня донести!

— Вызови его на поединок и постарайся убить, — сказала Наам.

— Невозможно! Он согласится на поединок лишь после того, как расскажет обо мне все.

— Пойди помирись с ним, предложи ему все свои сокровища. Заклинай его именем бога всемогущего!

— Никогда! Да он и сам отвергнет такое предложение.

— Переложу всю вину на других!

— На кого? На Гусейна, на албанца, на моих офицеров? Меня спросят, где они, и мне никто не поверит, если я скажу, что пожар...

— Ну что ж, тогда стань на колени перед всем своим народом и скажи: «Я виновен в великом преступлении и заслуживаю великой кары. Но я совершил и много доблестных деяний и хорошо послужил моей родине. Пусть меня судят». Палач не осмелится поднять на тебя руку, ты будешь сослан, а через год ты вновь понадобишься и получишь возможность совершить славный подвиг. Ты одержишь победу, и благодарная родина простит тебя и высоко вознесет.

— Наам, ты просто безумна, — с тоской произнес Орио. — Ничего ты не понимаешь в людях и нравах нашей страны. Не можешь ты дать мне хороший совет.

— Но я могу выполнить то, что ты задумаешь. Скажи, что мне сделать.

— Если бы у меня была какая-нибудь мысль, разве я оставался бы здесь хоть на один миг?

— Нам остается бегство, — сказала Наам. — Уедем.

— Это лишь на самый крайний случай, — сказал Орио, — ведь бегство означает признание. Послушай, Наам, надо найти человека, хорошо владеющего клинком, наемного убийцу, человека ловкого и верного. Может быть, ты знаешь здесь, в Венеции, какого-нибудь

рenegата, перебежчика из мусульман, который никогда обо мне не слышал и который из одного лишь доброго отношения к тебе за большую сумму денег...

— Ты, значит, опять хочешь пойти на убийство?

— Молчи! Говори тише. Не произноси здесь таких слов даже на своем языке.

— Должны же мы договориться. Ты хочешь, чтобы он умер и чтобы я приняла на себя всю ответственность, испытала всю опасность такого дела?

— Нет, я этого не хочу, Наам! — вскричал Соранцо, сжимая ее в своих объятиях, ибо мрачный вид Наам испугал его, напомнив, что сейчас не время ему утратить ее преданность.

— То, чего ты желаешь, будет сделано, — сказала Наам, идя к выходу.

— Стой, да нет же, это будет хуже всего! — сказал Орио, останавливая ее. — Его сестра и тетка обвинят меня, и похоже будет на то, что я испугался правды о себе. Да и не хочу я, чтобы ты подвергалась опасности. Уходи, Наам, оставь меня, спасай свою голову от того, что угрожает моей. Сейчас еще есть время, беги!

— Я тебя никогда не оставлю, ты это отлично знаешь, — невозмутимо ответила Наам.

— Что? Ты пойдешь со мной даже на смерть? Подумай, тебя тоже, возможно, обвинят в соучастии.

— Не все ли мне равно? — сказала Наам. — Разве я боюсь смерти?

— Но устоишь ли ты на пытке, Наам? — вскричал Соранцо, внезапно обеспокоенный этой новой мыслью.

— Ты опасаясь, что я не выдержу мук и выдам тебя? — холодно и сурово спросила Наам.

— О, никогда! — вскричал он с наигранным пылом. — Ты единственное существо, которое меня поняло, которое меня любило и пошло бы ради меня на тысячу смертей!

— Ты говоришь, что единственный выход — это удар кинжала? — произнесла Наам, понизив голос.

Орио не ответил. Он не знал, на что решиться. Этот выход и соблазнял его и страшил. Он стал перебирать в уме всевозможные планы, один невыполнимее другого, пока наконец голова у него не

пошла кругом и он не впал в полнейшее отупение. Наам встряхивала его, не в силах будучи вырвать у него хоть слово. Она чувствовала, как руки у него заоченели, и подумала, что он умирает. У нее мелькнула даже мысль, что в миг смятения он, может быть, проглотил яд и позабыл об этом. И она вызвала врача.

Барболамо нашел, что он в очень тяжелом состоянии, и вырвал его из оцепенения возбуждающими средствами, вызвавшими жестокую реакцию. У Орио начались сильнейшие судороги. Тогда доктор вспомнил, что его пациент давно уже не прибегал к наркотикам, и подумал, что эти лекарства, которыми Орио в свое время злоупотреблял в такой мере, что они перестали оказывать действие, сейчас, может быть, снова помогут. Поэтому он решился дать больному очень сильную дозу опиума, от которой тот сейчас же успокоится и погрузится в глубокий сон. Убедившись, что больному лучше, врач удалился, так как было уже очень поздно и ему надо было пойти к другим пациентам, прежде чем возвращаться домой.

Наам в течение нескольких минут с беспокойством сидела у ложа своего господина. Затем, убедившись, что он крепко спит, она почувствовала, что вся тяжесть новой беды легла на нее одну. Ей, именно ей, надо найти выход. Она в волнении ходила по комнате из угла в угол, вручая душу свою богу, а жизнь воле судьбы, и решила пойти на все, что угодно, только бы не дать погибнуть тому, кого любила. По временам она останавливалась и смотрела на его бледное, изможденное лицо; в своей ужасающей неподвижности он казался трупом, который только что побывал в руках палача, чтобы перейти в руки тех, кто предаст его земле. А ведь Наам видела Орио прежде таким стремительным, таким непреклонным в осуществлении своих ужасных замыслов! Теперь же у него не хватило сил выстоять грозу. Ей он предоставлял заботу о его спасении. Наам примирилась с неизбежным, сделала кое-какие приготовления, тщательно заперла дверь, вышла, никем не замеченная, и скрылась в лабиринте узких, темных улочек, где попадаются всякие сомнительные личности и где два человека, встретившись ночью, вынуждены прижиматься к стенам.

— Проклятие матери, что меня родила! — пробормотал Орио мрачным, глухим голосом, проснувшись и корчась на своем ложе, чтобы стряхнуть сон, сковывающий все его члены. — Неужто мне

никогда уже не спать, как другим людям? Либо меня донимают страшные видения и я обречен метаться во сне, как буйно помешанный, либо я падаю, словно труп, и просыпаюсь в смертном холоде и в истоме, похожей на агонию. Наам! Который час?

Ответа не последовало.

— Я один! — вскричал Орио. — Что же такое происходит?

Он сел на своей кровати, дрожащей рукой раздвинул занавески, увидел, как едва забрезживший рассвет проникает в комнату, и окинул все кругом отупелым взглядом, стараясь припомнить, что же произошло накануне. Затем ужасная правда возникла в его памяти, сперва как зловещее сновидение, а затем как гнетущая уверенность. Несколько мгновений Орио оставался неподвижным; казалось, он был раздавлен, и ему даже не пришла в голову мысль о том, чтобы отворотить угрожающий удар. Наконец он вскочил с кровати и принялся метаться по комнате, как безумный. «Это невозможно, невозможно,

— повторял он про себя. — Не дошло же до этого, не настолько же поразил меня рок!»

— Несчастный! — вскричал он, обращаясь к самому себе и падая в изнеможении на стул. — Так-то ты бросаешь теперь вызов судьбе? Тебе под ноги упал камень, а ты, вместо того чтобы принять это как предупреждение и либо бежать, либо что-то делать, ложишься, засыпаешь и ждешь, пока все здание рухнет! Либо ты в скотину превратился, либо враги наслали на тебя порчу. Проклятый врач! — вскричал он снова, видя на столе пузырек с опиумом, из которого врач заставил его пролотить часть снадобья — Ты, значит, стакнулся с ними, чтобы лишить меня сил и привести к бездействию! Ты тоже поплатишься у меня за это, подлец! Смотри, придет мой день! Мой день! Увы! Да выберусь ли я из этой навалившейся на меня ночи? Что же теперь делать? Ах, силы оставили меня в тот миг, когда я в них больше всего нуждался! Не пришло мне на ум ничего, когда быстрое решение еще могло меня спасти! Как только враг мой появился в галерее Меммо, надо было сделать вид, будто я принял его за призрак, броситься на него, вонзить в него кинжал... Этого человека, наверное, не так уж трудно убить; он получил уже столько ран... А затем я разыграл бы безумие. Меня бы лечили, как это уже было, даже жалели. Конечно, у меня появились бы угрызения совести, я заказал

бы молебствия о спасении его души, и все ограничилось бы только тем, что я лишился бы благосклонности этой девочки... Но, может быть, это еще можно сделать? Да, завтра, почему бы нет? Я пойду на это свидание. Пойду, разыгрывая бешеную ярость, сам брошу ему вызов, обвиню в какой-нибудь гнусности... Скажу Морозини, что он соблазнил... нет, что он изнасиловал его племянницу, что я его выгнал с позором и что в отместку он сплел эту сеть лжи... Я стану так поносить Эдзелино, так угрожать ему... И еще вдобавок плюну в лицо... Тогда уж придется ему схватиться за шпагу... Тут-то ему и конец: не успеет он вырвать ее из ножен, как моя шпага вонзится ему в горло... А там я брошусь на пол, на губах у меня выступит пена, я стану рвать на себе волосы, — словом, сойду с ума. Самое худшее, что может со мной случиться, — это изгнание на четырнадцать лет. А всем известно, чего стоят четырнадцать лет изгнания венецианского патриция. Через год он понадобится, его вернут... Наам была права... Да, так я и сделаю... Но что, если Эдзелино уже говорил с теткой и сестрой, если они тоже станут моими обвинительницами? Ладно, пусть. А доказательства?.. Во всяком случае, всегда останется возможность бегства. Если я не смогу увезти все свое золото, отправлюсь к пиратам и организую морской разбой на куда более широкую ногу. В несколько лет соберу огромное состояние и уеду проживать его под вымышленным именем в Кордову или Севилью, — говорят, жизнь там развеселая. Разве деньги не владыка мира?.. Правда же, доктор хорошо поступил, усыпив меня. Сон меня возродил, вернул мне всю мою энергию, все надежды!

Орио говорил сам с собой в приступе какой-то лихорадочной энергии. Глаза его, устремленные в одну точку, сверкали, бледные губы дрожали, руки скрючились на отощавших голых коленях. Увлеченный своими злостными планами и гнусными речами, «самый красивый мужчина Венеции» был сейчас омерзителен.

Пока он размышлял вслух, маленькая дверь за портьерой открылась и в комнату бесшумно вошла Наам.

— Это ты? Где ты пропадала? — спросил Орио, едва удостоив ее взглядом.

— Дай мне халат, я должен одеться и выйти!..

Но когда Наам подошла, чтобы подать ему халат, он внезапно встал и так и застыл на месте от изумления и ужаса. Наам была

бледнее занимавшегося сейчас рассвета, губы ее приняли свинцовый оттенок, глаза остекленели, словно у трупа.

— Почему у тебя на лице кровь? — спросил Орио, отшатнувшись от страха.

Он вообразил себе вдруг, что по бесчеловечным обычаям тайной венецианской полиции Наам была схвачена ее служителями и подвергнута пытке. Может быть, она рассказала... Орио смотрел на нее с ненавистью, смешанной со страхом.

«Как мог я допустить такую неосторожность — оставить ее в живых? Следовало устранить ее еще год назад!»

— Не спрашивай меня, что случилось, — произнесла Наам каким-то безжизненным голосом, — тебе незачем это знать.

— Ля хочу знать! — вскричал в бешенстве Орио и принялся грубо трясти ее.

— Хочешь знать? — повторила Наам с презрительным спокойствием. — Узнай же на свой страх и риск. Я только что убила Эдзелино.

— Эдзелино убит! Наверняка убит! Наверняка мертв! — вскричал Орио, в приступе безрассудной радости прижимая к своей груди Наам. Но тут он разразился каким-то судорожным хохотом и вынужден был снова опуститься на стул. — Это кровь Эдзелино? — спрашивал он, трогая влажные руки Наам. — Это проклятая кровь вытекла наконец до последней капли? О, на этот раз он не вывернется, правда? Ты не промахнулась, Наам? О нет, рука у тебя твердая — кого ты ударишь, тот уж не встанет! Ты убила его, как пашу, правда? Тем же ударом в сердце — снизу вверх? Скажи мне, скажи! Да говори же!.. Рассказывай! Ах, не стоило ему возвращаться в Венецию... Недолго он погулял в Венеции, недолго наслаждался мезтью!..

И Орио снова разразился своим ужасным хохотом.

— Я нанесла удар прямо в сердце, — мрачно произнесла Наам, — а потом бросила в воду...

— Железо и вода! Хороша наша Венеция, хорошо встретиться с врагом на безлюдной набережной! Но как ты нашла его в такой час? Что ты сделала, чтобы с ним встретиться?

— Я взяла лютню и пошла играть под окном его сестры. Я играла так упорно и долго, что брат проснулся и увидел меня в окно. Тогда я отошла на несколько шагов, но продолжала играть, словно дразня его.

Он узнал меня по одежде, — это мне и нужно было. Он вышел из дому и приблизился ко мне с угрозами. Я отошла подальше, все продолжая играть, а потом опять остановилась. Он снова подошел, а я отошла. Тогда он повернулся и пошел обратно, но я побежала за ним и все время играла. Тут он пришел в ярость и, думая, наверное, что я все это делаю по твоему приказу, побежал мне навстречу со шпагой в руке. Так я заставила его бежать за мной до того места, где мостовая набережной кончается и переходит в ступеньки, которые крутым изгибом ведут к причалу гондол. Там не было ни одной лодки, ни одного человека, ни звука, ни огонька. Я крепко уцепилась за колонку, которой заканчиваются перила, и, согнувшись, стала его дожидаться. Он добежал до причала и, не видя меня, едва на меня не наткнулся, когда перегнулся к воде посмотреть, не ускользнула ли я от его гнева на какой-нибудь гондоле. В этот миг я одной рукой сорвала с него плащ, а другой нанесла удар. Он пытался отбиваться, бороться... но поскользнулся на влажных ступеньках и стал терять равновесие. Тогда я толкнула его, он упал и пошел ко дну. Вот так все произошло.

Последние слова Наам произнесла приглушенным голосом и вздрогнула всем телом.

— Ко дну? — с беспокойством молвил Соранцо. — Ты в этом уверена? Ты не бросилась бежать?

— Я не убежала, — возразила, вновь оживляясь, Наам. — Я смотрела в воду, пока она не стала гладкой, как зеркало. Тогда я сорвала между сырых камней берега пучок водорослей, смыла и счистила со ступенек пятна крови. Кругом никого не было, не раздавалось ни звука. Я спряталась за выступом стены. Кто-то вышел из палатки Меммо, я тихонько вышла из своего укрытия и вернулась домой.

— Ты испугалась? Бежала?

— Я шла медленно, часто останавливалась и осматривалась кругом. Никто меня не видел, никто за мной не шел. И даже по камням мостовой я ступала бесшумно. Я нарочно петляла и от палатки Меммо сюда шла больше часа. Ты успокоился? Ты доволен?

— О Наам, о удивительная девушка! Да у тебя душа трижды закалена в адском огне! — вскричал Орио. — Дай я обниму тебя, ты дважды спасла мне жизнь!

Но он так и не обнял Наам: пламенный порыв его благодарности загасила внезапная мысль...

— Наам, — произнес он после минутного молчания, в течение которого она смотрела на него с мрачной тревогой, — ты совершила безумный поступок, ненужное преступление.

— Почему? — спросила Наам, продолжая мрачнеть.

— Повторяю тебе, что ты взялась совершить поступок, за все последствия которого отвечать буду я! Эдзелино найдут убитым и обязательно обвинят меня. Убийство это будет признанием всего, что он мне приписывает и что уже рассказал тетке и сестре. К тому же за мной окажется еще одно убийство, и я не вижу, каким образом этот лишний груз может меня облегчить. Разрази тебя гром, гнусная, хищная зверюга! Ты так торопилась попить чьей-то крови, что даже не посоветовалась со мной.

Наам приняла это оскорбление с кажущимся спокойствием, от чего Соранцо только расхрабрился.

— Ты велел мне поискать убийцу, — сказала она, — верного и незаметного человека, который не знал бы, чья рука его направила, и за деньги стал бы молчать. Я сделала еще лучше: нашла человека, которому нужна только одна награда — чтобы у тебя не оставалось врагов, который сумел нанести удар верно и осторожно, которого тебе нечего бояться и который сам отдастся в руки правосудия твоей страны, если тебя обвинят.

— Надеюсь, — сказал Орио. — Ты, пожалуйста, помни, что я тебе ничего не поручал. Ведь ты солгала: я и впрямь ничего не поручал.

— Солгала? Я солгала? — дрожащим голосом вымолвила Наам.

— Не только языком, но и плоткой своей солгала, солгала, как последняя собака! — закричал Орио, охваченный грубым бешенством, приступом болезненного раздражения, которое он не в силах был подавить, хотя, может быть, и понимал в глубине души, что сейчас никак не время ему поддаваться.

— Это ты лжешь, — возразила Наам презрительным тоном, скрестив руки на груди. — Ради тебя я пошла на преступления, мне самой ненавистные, раз уж тебе угодно называть преступлениями то, что для тебя сделано, когда сделанное кажется тебе бесполезным. Я же ненавижу проливать кровь и выносила у турок рабство, даже не

подумав совершать ради себя самой то, что потом совершила для твоего спасения.

— Скажи лучше, что ты сама себя хотела спасти, — вскричал Орио, — и что мое присутствие только придало тебе храбрости, которой тебе не хватало!

— Храбрости мне всегда хватало, — возразила Наам, — а ты, оскорбляющий меня после всего этого и в такой момент, посмотри на кровь на моих руках! Это кровь мужчины, третьего мужчины, у которого я, женщина, отняла жизнь, чтобы спасти твою.

— И отняла-то трусливо, по-бабьи.

— Женщина не трусиха, когда убивает мужчину а мужчина, способный убить женщину, не храбрец.

— Ладно, так я убью двух! — вскричал Соранцо, которого этот намек взбесил окончательно.

И, схватив подвернувшуюся под руку шпагу, он бросился на Наам, но в это самое мгновение три громких удара потрясли парадную дверь палатки.

— Меня ни для кого нет дома! — закричал Соранцо своим слугам, которые уже встали и теперь в смятении бегали по галереям. — Ни для кого! Что это за наглый проходимец стучится в такой час, не боясь разбудить хозяина?

— Синьор, — бледнея, вымолвил один из лакеев, высунувшись из окна галереи. — Это посланец Совета Десяти.

— Уже? — сквозь зубы пробормотал Орио. — Эти проклятые ищейки тоже, видимо, не спят!

Он вернулся в свою комнату с каким-то растерянным видом. На полу валялась его шпага, которую он выронил из рук, когда в дом постучали. Наам стояла в излюбленной своей позе — скрестив руки на груди — и с презрительной невозмутимостью смотрела на оружие, с которым Орио осмелился броситься на нее и которое она не стала поднимать, считая это ниже своего достоинства.

В этот миг Орио осознал, каким исключительным безумием с его стороны было раздражать поверенную всех его тайн. Он говорил себе, что когда удалось приручить льва лаской, незачем пытаться смирить его силой. Он хотел даже принудить ее к этому, когда увидел, что она делает вид, будто не слышит. Но все — и просьбы и угрозы — оказалось тщетным. Наам решила мужественно и твердо встретить

служителей грозного трибунала. Они не заставили себя ждать. Перед ними открылись все двери, и перепуганные слуги привели их в комнату своего господина. За ними шел вооруженный отряд, а у дверей палатки ждала черная гондола с четырьмя сбирами.

— Мессер Пьер Орио Соранцо, мне дан приказ арестовать вас, этого молодого человека, вашего слугу, и всех прочих слуг, находящихся в доме, — произнес начальник отряда. — Будьте добры следовать за мной.

— Повинуюсь, — ответил Орио лицемерным тоном. — Никогда не позволяю я себе сопротивляться священной власти, которою вы посланы, но не испытываю никакой боязни, ибо чту ее высокое всемогущество и полон доверия к ее безупречной мудрости. Но я хочу сделать тут же заявление — отдать первую дань уважения к истине, которая будет строгим руководителем моим в этом деле. Поэтому я прошу вас принять к сведению все, что я открою здесь перед вами и перед всеми моими слугами. Я не знаю, по какой причине явились вы арестовать меня, и не допускаю мысли, чтобы вам было известно то, что я сейчас скажу. Именно потому я и стремлюсь все раскрыть правосудию и помочь ему в его суровом деле. Этот слуга, которого вы принимаете за юношу, на самом деле женщина. Я этого не знал, как не знал и никто из живущих в моем доме. Только что она вернулась сюда в полном смятении, с окровавленным лицом и руками, как вы сами видите. Растерявшись от моих расспросов и испугавшись моих угроз, она призналась мне, что является на самом деле женщиной и что нынче ночью она убила графа Эдзелино, признав в нем того христианского воина, от руки которого пал в схватке во время битвы при Короне два года назад ее возлюбленный.

Агент велел тотчас же записать показание Соранцо. Формальность эта была выполнена с холодной бесстрастностью, присущей всем служителям Совета Десяти. Пока его слова записывали, Орио, обратившись к Наам на ее родном языке, объяснил ей, что именно он сказал агентам. Он убеждал ее согласиться на придуманный им план.

— Если меня тоже обвинят, — сказал он ей, — мы оба погибнем. А если я выкручусь, то отвечаю за твое спасение. Верь мне и будь тверда. Обвиняй во всем себя одну. В нашей стране все устраивается с

помощью денег. Если я останусь на свободе, то и ты будешь освобождена. Но если я буду осужден, то и тебе конец, Наам!..

Наам пристально посмотрела на него, не произнеся ни слова в ответ. Что думала она в этот решающий миг? Орио тщетно старался выдержать ее глубокий взгляд, проникший в нутро его, словно клинок. Он смутился, а Наам улыбнулась, какой-то странной улыбкой. С минуту она о чем-то сосредоточенно думала, затем подошла к писцу, прикоснулась к нему и, заставив его посмотреть на нее, вручила ему свой еще окровавленный кинжал, показала свои красные от крови руки и запятнанный лоб. Затем, жестом изобразив удар, а после прижав руки к груди, она ясно дала понять, что убийство совершено ею.

Начальник отряда велел увести ее отдельно, а Орио усадили в гондолу и отвезли в казематы Дворца дождей. Все слуги палатки Соранцо также были арестованы, дворец заперли и охрану его поручили уполномоченным властей. Менее чем через час это богатое, пышное жилище стояло уже пустым, безмолвным и мрачным.

Был ли Орио вполне в своем уме, когда он первым обвинил Наам и сочинил рассказанную им басню? Нет, конечно! Орио — надо это прямо сказать — был конченный человек. У него еще хватило дерзости в потребности лгать, но хитрость его сводилась к лицемерию, а изобретательность — к наглости.

Однако, сказав Наам, что в Венеции можно все устроить, если иметь деньги, он был недалек от истины. В эту эпоху коррупции и упадка грозный Совет Десяти уже в значительной мере утратил свою фанатичную суровость, оставалась лишь торжественная и мрачная оболочка. И хотя народ еще содрогался при одной мысли о том, что, может быть, придется предстать перед этими беспощадными судьями, узникам случалось возвращаться на волю по мосту Вздохов.

Поэтому Орио тешился надеждой если и не доказать самым блистательным образом свою невиновность, то хотя бы так запутать дело, чтобы не оказалось никакой возможности доказать его причастность к убийству Эдзелино. В конце концов, убийство это оказывалось даже спасительным: все обвинения, которые Эдзелино мог предъявить Орио, исчезали, и оставалось лишь одно, которое, может быть, удалось бы все-таки отвести. Если Наам будет твердо

стоять на том, что она одна ответственна за убийство, как тогда доказать соучастие Орио?

Но Орио слишком поторопился обвинить Наам. Ему следовало начать с предупреждения и остерегаться пронизательности и гордости этой неукротимой души. Он, правда, понимал, какую огромную ошибку допустил, поддавшись только что порыву неблагодарности и ненависти. Но как поправить дело? Его тотчас же посадили под замок и, разумеется, лишили какой бы то ни было возможности общаться с него.

Сам того не подозревая, Орио совершил еще другую, гораздо более серьезную ошибку, впоследствии вы увидите — какую. Ожидая исхода этого крайне неприятного дела, Орио решил установить, насколько будет возможно, связь с Наам, попросил разрешения повидаться с друзьями, но в этом ему отказали. Тогда он заявил, что болен, и потребовал своего врача. Через несколько часов в его камеру ввели Барболамо.

Хитрый доктор изобразил крайнее изумление, увидев своего богатого и изнеженного пациента на убогом тюремном ложе. Орио объяснил ему происшедшее с ним злосудное заключение, рассказав то же, что он рассказывал агентам Совета Десяти... Барболамо сделал вид, что верит ему, и любезно предложил Орио свою бескорыстную помощь. Орио же в первую очередь нужно было, чтобы врач достал для него денег. Вооружившись этим волшебным талисманом, он надеялся подкупить тюремщиков, если не для того, чтобы совершить побег, то по крайней мере для установления хоть какой-то связи с Наам, которую он считал отныне для себя замком свода: устоит — будет стоять и все здание, рухнет — и всему конец. Проявляя исключительную любезность, доктор передал свой довольно туго набитый кошель в распоряжение Орио. Но тот тщетно пытался подкупить стражей — ему не удалось повидаться с Наам. Несколько дней Орио провел в величайшей тревоге, и к судьям его тоже ни разу не вызвали. Единственное, чего он добился, — это возможности переслать Наам кое-что из пищевых припасов поизысканнее и кое-какую одежду. Доктор очень охотно согласился сделать это и принес ему весточку от его печальной подруги. Он сообщил Орио, что нашел ее спокойной как обычно, больной, но ни на что не жалующейся и даже словно не замечающей, что ее лихорадит. Наам отказывалась от

каких бы то ни было посланий и не пыталась как-то оправдаться перед судом. Казалось, она если и не желает смерти, то, во всяком случае, ждет ее со стоическим равнодушием.

Эти подробности немного успокоили Соранцо, и надежды его оживились. Доктор был весьма поражен той переменной, которую произвели в нем неожиданно нагрянувшие беды. Это был уже не желчный сновидец, преследуемый зловещими призраками и непрерывно жалующийся на томительность и тягостность существования. Теперь перед ним находился азартный игрок, который проиграв партию, вооружается уже даже не ловкостью, а неусыпным вниманием и решимостью. Легко было заметить, что у игрока не осталось почти никаких ходов и что его упорство ни к чему не приведет. Но оказалось вдруг, что ставка, которую он якобы так презирал, обрела исключительную ценность для него только в роковой момент. Все опасения Орио осуществлялись на деле, и Барболамо получил доказательство того, что человеку этому неизвестны угрызения совести: он перестал бояться призраков, как только ему пришлось иметь дело с живыми противниками. Ум его занят был отныне только соображениями о том, как избежать возмездия; в смертельной опасности он примирился с самим собой.

Наконец, на десятый день ареста, Орио вывели из его камеры и привели в полуподвальный зал Дворца дождей, где его ожидали следователи. Прежде всего Орио обвел глазами помещение — не находится ли здесь Наам? Ее не было. У Орио появилась надежда.

С одним из судейских чиновников беседовал доктор Барболамо. Орио крайне изумился тому, что врач замешан в это дело, и к удивлению прибавилось сильное беспокойство, когда он увидел, что Барболамо усадили, проявляя к нему величайшее уважение, словно от него ждали очень важных показаний. Орио, со своим обычным презрением к людям, стал в страхе припоминать, был ли он достаточно тороват с врачом, не оскорбил ли его в припадке вспыльчивости, и у него возросло опасение, что, пожалуй, он недостаточно щедро оплачивал его услуги. Но, в конце концов, какое зло мог причинить ему этот человек, которому он никогда не открывал тайников своей души?

Допрос начался таким образом:

— Мессер Пьер Орио Соранцо, патриций и гражданин Венеции, старший офицер вооруженных сил республики и член Великого совета, вы обвиняетесь в соучастии в убийстве, совершенном шестнадцатого июня тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года. Что вы можете сказать в свою защиту?

— Что мне неизвестны точные обстоятельства и подробности этого убийства, — ответил Орио, — и что я даже не понимаю, в какого рода сообщничестве могу быть обвинен.

— Вы по-прежнему держитесь заявления, сделанного вами чинам, которые вас арестовали?

— Да, держусь. Я его полностью и решительно подтверждаю.

— Господин доктор наук, профессор Стефано Барболамо, соблаговолите прослушать протокольную запись данных вами в тот же день показаний и сказать нам, подтверждаете ли вы их.

Затем прочитан был нижеследующий протокол.

«16 июня 1687 года около двух часов пополуночи Стефано Барболамо возвращался к себе домой, проведя ночь у изголовья своих пациентов. С порога своего дома, находящегося на противоположном берегу Малого канала омывающего палаццо Меммо, он увидел как раз напротив себя бегущего человека, который наклонился, словно хотел спрятаться за парাপет, в том месте, где перила кончаются у площадки для причала. Подозревая, что у этого человека могут быть какие-либо злодейские замыслы, доктор задержался на пороге своего дома и, глядя из-за полуоткрытой двери, чтобы не быть замеченным, увидел другого человека, который словно искал первого и неосторожно спустился ступеньки на две вниз к причалу. Тотчас же спрятавшийся бросился на него и нанес ему удар сбоку. Доктор слышал лишь один крик. Он бросился к парапету, но жертва уже исчезла. Только волнение еще не улеглось в том месте, куда упало тело. На берегу стоял лишь один человек, явно намеревавшийся встретить своего врага, если бы тот всплыл, ударами кинжала. Но тот был заколот насмерть: он не появился.

Хладнокровие и смелость убийцы, который, вместо того чтобы бежать, занимался обмыванием залитых кровью ступенек, настолько удивили доктора, что он решил пойти за ним и понаблюдать. Скрытый за углом стены, он мог видеть все его движения, сам оставаясь незамеченным. Он двинулся вдоль домов набережной, а убийца

между тем шел по противоположному берегу канала. У доктора было то преимущество, что он находился в тени и мог идти незамеченным, в то время как вынырнувшая из-за облаков луна ярко освещала преступника. Именно тогда, будучи отделен только сужающимся руслом канала, доктор узнал облик юного мусульманина, который уже в течение года состоит на службе у мессера Орио Соранцо. Этот юноша шел не торопясь и время от времени оборачивался, чтобы узнать, не следят ли за ним. Тогда доктор также останавливался. Затем он увидел, как тот свернул в переулок. Тогда доктор побежал до ближайшего моста и, убыстряя шаг, вскоре нагнал Наама, однако все время оставался на должном расстоянии. Он шел за юношей, петляя почти целый час, пока не увидел, что тот возвратился в палаццо Соранцо.

Удостоверившись, таким образом, что он не ошибся насчет личности преступника, доктор тотчас же отправился сделать заявление в полицию и оттуда вернулся прямо к себе, в то время как полицейские чины приступили к аресту мессера Орио и его слуги. На набережной доктор обнаружил нескольких человек, которые с озабоченным видом сновали туда и сюда, явно кого-то ища. Один из них подошел к нему и, сразу узнав его, так как уже рассветало, учтиво спросил, не заметил ли он по дороге чего-либо необычного — человека, пытавшегося скрыться, или потасовки в том квартале, где он проходил. Но доктор вместо ответа отступил в изумлении и едва не упал навзничь, увидав перед собой призрак человека, которого он уже целый год считал погибшим и которого горестно оплакивала осиротевшая семья.

— Не удивляйтесь и не пугайтесь, любезный доктор, — сказал призрак, — я ваш верный пациент и старый друг, граф Эрмолао Эдзелино, о котором вы, может быть, по доброте душевной несколько сожалели и который, словно чудом, выпутался из целого клубка весьма необычайных бедственных приключений...»

Когда читавший показания врача дошел до этого момента, Орио сжал под плащом кулаки. Его глаза встретились с глазами доктора, и в них он прочел немного жестокую иронию порядочного человека, которому удалось перехитрить негодяя.

Чтение продолжалось.

«Граф Эдзелино сказал тогда доктору, что они еще повидаются на досуге и он поведаст ему о своих приключениях, но сейчас он просит извинения: он обеспокоен другим делом, и ему нужна помощь доктора для выяснения некоего странного обстоятельства. Молодой человек, которого, судя по одежде, он принял за арабского невольника мессера Орио Соранцо, явился играть на лютне под окном синьоры Арджирии и словно бросал вызов хозяину дома, не обращая внимания на то, что тот и словами и жестами приказывал ему отойти и играть где-нибудь в другом месте. Раздраженный, граф Эдзелино выбежал из дома и стал его преследовать, но, заметив, что оружия он с собой не захватил, а музыкант мог завлечь его в какую-нибудь ловушку (тем более что у графа имелось достаточно оснований опасаться подвоха со стороны мессера Соранцо), он опять вернулся в дом за шпагой. В тот миг, когда он переступал порог дворца, навстречу ему попался его верный слуга Даниэли, встревоженный всей этой историей и вышедший на помощь хозяину. Даниэли бросился за музыкантом, а граф зашел в оружейный зал и взял со стены старую шпагу — первое, что ему попало под руку.

На несколько минут его задержала испуганная сестра, в страхе за него сбежавшая вниз по лестнице. Он не без труда вырвался из ее рук и, удивленный отсутствием Даниэли, побежал в том же направлении. Видя, что улица пустынна и безмолвна, он свернул налево и некоторое время безуспешно бежал вперед и звал слугу. Под конец он вернулся обратно, к тому времени проснулись другие слуги, и все вместе они принялись искать Даниэли. Один из слуг уверял, что слышал слабый крик и всплеск воды, словно что-то тяжелое упало в канал. Именно из-за этого он проснулся и встал, хотя понятия не имел о случившемся. Как ни старались граф и его слуги, верного Даниэли им найти не удалось. На ступеньках причала они обнаружили следы плохо смытой крови, что их крайне встревожило. Доктор рассказал, что он видел. Тогда принесли щуп и стали искать в канале вдоль берега, но через несколько часов тело Даниэли всплыло у противоположного берега».

«Выходит, — подумал Орио, снедаемый молчаливой яростью, — Наам ошиблась, и я сам себя выдал, заявив полиции, что удар предназначался Эдзелино».

Доктор подтвердил свои показания, и в зал ввели Эдзелино.

— Синьор граф, — обратился к нему следователь, — вы заявили нам, что имеете сообщить много весьма важного о поведении мессера Орио Соранцо. Это по вашему желанию вам устраивается с ним очная ставка в нашем присутствии. Соболаговолите высказаться.

— Прошу извинения и минутной отсрочки, — сказал Эдзелино. — Я жду свидетеля, вызвать которого мне разрешил Совет Десяти; в его присутствии должны быть записаны мои показания.

Графу Эдзелино подали кресло, и несколько мгновений прошли в глубоком молчании. Каким ударом по самолюбию Соранцо должно было быть то, что ему пришлось стоять в присутствии своего врага, сидевшего в кресле среди бесстрастных судей, и в ожидании какого-то нового, на этот раз неотвратимого удара!

Терзаемый тайной тревогой, он решил обрести выход в дерзости:

— Я полагал, что увижу здесь своего слугу Наама, или, вернее, Наам, ибо речь идет о женщине. Нельзя ли и ее вызвать на очную ставку, чтобы мне помогли ее искренние показания?

Ответа на этот вопрос не последовало. Орио почувствовал, что в жилах его застывает кровь. Тем не менее он повторил свою просьбу. Тогда прозвучал медленный, четкий голос следователя:

— Мессер Орио Соранцо, вашей милости следовало бы знать, что вам не подобает задавать нам какие бы то ни было вопросы, а нам не подобает на них отвечать. В этом деле соблюдены будут все должные формы со всей независимостью и беспристрастностью, свойственными действиям верховного правительственного органа.

В этот момент мессер Барболамо подошел к графу и шепнул ему что-то на ухо. Взгляды их одновременно обратились на Орио; взгляд графа полон был полнейшего равнодушия, являющегося предельным выражением презрения, во взгляде доктора сквозило страстное возмущение, переходившее в безжалостную насмешку.

Грудь Орио словно грызли тысячи змей. Пробили часы — медленным, ровным, вибрирующим звоном. Орио не постигал, как может совершаться обычное течение времени. Кровь в его жилах стучала неровно, прерывисто, словно нарушая тем самым привычную последовательность мгновений, в которой осуществляется и измеряется течение времени.

Наконец ввели ожидавшегося свидетеля; это был адмирал Морозини. Входя, он обнажил голову, но никому не поклонился и

заговорил так:

— Собрание, вызвавшее меня предстать перед ним разрешит мне не приветствовать ни одного из его членов до тех пор, пока я не узнаю, кто здесь обвинитель, кто обвиняемый, кто судья, кто преступник. Мне неизвестна суть данного дела, или, точнее, я узнал ее через народную молву, то есть путем неясным и нередко ошибочным. Поэтому я не знаю, чего заслуживает с моей стороны присутствующий здесь мой племянник Орио Соранцо

— сочувствия или порицания, и воздержусь от всяких внешних проявлений уважения или неодобрения к кому бы то ни было. Я подожду, пока все не станет мне ясным и истина не продиктует мне должного поведения.

Сказав это, Морозини сел в предложенное ему кресло, и заговорил, в свою очередь, Эдзелино.

— Благородный Морозини, — сказал он, — я просил, чтобы вас вызвали в качестве свидетеля моих слов и судьбы моих поступков по делу, в котором мне очень трудно примирить свой гражданский долг в отношении нашей республики со своими дружескими чувствами к вам. Беру в свидетели небо (я бы обратился и к свидетельству Орио Соранцо, если бы к нему можно было обращаться!), что я прежде всего хотел объяснить лично перед вами. Как только я возвратился в Венецию, я решил довериться вашей мудрости и вашей любви к родине больше, чем своей личной совести, и действовать согласно вашему решению. Орио Соранцо не захотел этого и вынудил меня потащить его на скамью подсудимых, предназначенную для гнусных злодеев. Он заставил меня сменить избранную мною роль человека осторожного и великодушного на другую, ужасную — роль обвинителя перед трибуналом, чьи суровые приговоры не дают уже обвинителю вернуться к состраданию и не оставляют обвиняемому никаких возможностей для раскаяния. Мне неизвестно, в качестве кого и согласно каким юридическим формам должен я преследовать этого преступника. Я жду, чтобы отцы государства, его наиболее могущественные вельможи и его самый славный воин сказали мне, чего они от меня ждут. Что до меня лично, то я знаю, что обязан сделать: я должен сообщить суду все мне известное. Я хотел бы, чтобы этот мой долг мог быть выполнен на данном заседании, ибо когда я думаю о суровости наших законов, то не чувствую себя способным

долго выдерживать роль неумолимого обвинителя и хотел бы иметь возможность, раскрыв преступление, смягчить кару, которую навлеку на виновного.

— Граф Эдзелино, — произнес следователь, — какова бы ни была строгость нашего решения, как ни сурова кара, налагаемая за некоторые преступления, вы должны сказать всю правду, и мы рассчитываем, что вы с должным мужеством выполните суровую миссию, которой ныне облечены.

— Граф Эдзелино, — сказал Франческо Морозини, — как ни горька может быть для меня истина, как ни жесток может быть для меня удар, который поразит человека, бывшего моим родичем и другом, ваш долг перед отечеством и перед самим собой сказать всю правду.

— Граф Эдзелино, — молвил Орио с надменностью, в которой, однако сквозила растерянность, — как ни опасно для меня ваше предубеждение и в каких бы преступлениях я ни казался повинен, я требую, чтобы вы сказали здесь всю правду.

Эдзелино ответил Орио лишь презрительным взглядом. Он низко поклонился судье и еще ниже склонился перед Морозини. А затем снова заговорил.

— Итак, ныне мне суждено выдать на суд и расправу республики одного из ее самых дерзновенных врагов. Знаменитый главарь миссолунгский пиратов, тот, кого прозвали ускоком, с кем я выдержал рукопашную схватку и по чьему приказу весь мой экипаж был вырезан, а корабль потоплен при выходе из района островов Курцолари в открытое море, этот беспощадный разбойник, разоривший и повергший в траур столько семей, находится здесь, перед вами. Я не только имею в этом полную уверенность, ибо узнал его, как узнаю в эту самую минуту, но и собрал тому все возможные доказательства. Ускок — не кто иной, как Орио Соранцо.

И граф Эдзелино рассказал уверенно и ясно все, что случилось с ним, начиная со встречи с ускоком у северной оконечности Острова Курцолари и кончая входом его корабля из этих отмелей на следующий день. Он не опустил ни одного обстоятельства, связанного с посещением замка Сан-Сильвио, — ни раненой руки губернатора, ни обнаруженных им признаков сообщничества между губернатором и комендантом Леонцио. Эдзелино рассказал обо всем, что с ним

произошло после решающей битвы с пиратами. Он заявил, что Соранцо не принимал участия в этом сражении, но что старый Гусейн и многие другие, которых он видел накануне на баркасе ускока, действовали по его приказу и пользовались его покровительством. Здесь мы в нескольких словах перескажем, каким чудом Эдзелино избежал стольких опасностей.

Изнемогая от усталости и потери крови, хлеставшей из полученной им раны, он был отнесен в трюм на тартане албанского еврея. Там один из пиратов уже хотел отрубить ему голову, но албанец остановил его, и, разговаривая с этим человеком на своем родном языке, к счастью понятном Эдзелино, он воспротивился убийству, заявив, что этот пленник — благородный венецианский синьор и что если ему сохранить жизнь, то за него можно будет получить от его семьи хороший выкуп.

— Так-то оно так, — сказал пират, — но вы ведь знаете, что губернатор пригрозил Гусейну своим гневом, если тот не принесет ему головы этого начальника. Гусейн дал слово и не захочет взять на себя охрану пленника. Затеять такое дело — большой риск.

— Никакого риска не будет, — возразил еврей, — если быть осторожным и не проболтаться. Я готов поделиться с тобой выкупом. Возьми только и разорви куртку этого венецианца, и мы отнесем ее губернатору Сан-Сильвио. Охраняй здесь пленника и никого не пускай. А ночью мы его усадим в лодку, и ты свезешь его в надежное место.

Сделка была заключена. Оба эти человека раздели Эдзелино, и еврей весьма искусно и заботливо перевязал его рану. На следующую ночь его перевезли на один из самых дальних островов архипелага Курцолари, населенный только рыбаками и контрабандистами, которые охотно предоставили убежище своему союзнику пирату и его пленнику.

Несколько дней провел Эдзелино на этом острове, где за ним очень внимательно ухаживали. Когда он оказался вне опасности, его перевезли еще дальше, и наконец, пережив много тяжелых и трудных дней, он очутился на одном из островов Эгейского архипелага, который стал главной квартирой пиратов, после того как Мочениго прибыл в Лепантский залив. Там Эдзелино снова встретился с Гусейном и всей прочей бандой и около года жил у них на положении

раба, упорно отказываясь платить за себя выкуп и слать в Венецию какие бы то ни было вести о себе.

Когда графа спросили о причинах столь странного поведения, его благородный ответ глубоко тронул Морозини и доктора.

— Семья моя небогата, — сказал он. — К тому же я окончательно разорился, когда на островах Курцолари погиб весь мой экипаж и галера. Выкуп за меня поглотил бы скудное приданое моей юной сестры и весьма скромные средства тетки. Обе эти великодушные женщины с радостью отдали бы все, что имели, только бы освободить меня, и ненасытный еврей, не веря, что при громком имени можно иметь столь ничтожное состояние, обчистил бы их до последнего гроша. К счастью, он толком не расслышал моего имени, и вдобавок мне удалось убедить его, что он ошибся и что я вовсе не тот, кого они хотели спасти от ненависти Соранцо. Я даже пытался уверить его, что я родом не из Венеции, а из Генуи, и пока он тщетно предпринимал розыски моей семьи и родины, я раздумывал, как бы мне бежать от них и обрести свободу без выкупа.

После многих напрасных попыток, связанных с бесчисленными опасностями и неудачами, в подробности которых сейчас вдаваться незачем, мне наконец удалось бежать и добраться до побережья Мореи, где я получил от венецианских гарнизонов помощь и защиту. Однако я не открыл своего настоящего имени, а выдал себя за унтер-офицера, взятого в плен турками во время последнего похода. Я хотел обвинить предателя Соранцо в совершенных им преступлениях, но хорошо понимал, что если до него дойдет весть о моем спасении и побеге из плена, он, несомненно, скроется и избежит таким образом и моей мести и возмездия со стороны законов нашего отечества.

Итак, в довольно жалком состоянии добрался я до западного берега Мореи и за скромную сумму денег, которую несколько соотечественников великодушно дали мне в долг под залог одного лишь честного слова, смог сесть на корабль, отправлявшийся на Корфу. Это небольшое торговое судно, принявшее меня на борт, было вынуждено сделать остановку в Кефалонии, и капитан решил задержаться там на неделю по своим делам. Тогда у меня возникла мысль посетить острова Курцолари, окончательно очищенные от пиратов и избавленные от своего пагубного губернатора. Простите мне, благородный Морозини, грустные помыслы, которые я должен

высказать, чтобы объяснить эту мою причуду. На островах Курцолари видел я в последний раз одну особу, чья невинная и достойная всяческого уважения дружба дала мне в юные годы много радостей и много страданий, равно священных для моей памяти. Я ощутил горестную потребность вновь увидеть эти места, свидетелей ее длительной агонии и трагической гибели. Я не нашел ничего, кроме груды камней там, где пережил столь глубокие чувства, а те чувства, которые теперь пришли им на смену, были так ужасны, что я сам не знаю, как они не свели меня с ума. Несколько часов бродил я среди этих развалин, словно надеялся найти хоть какие-то следы правды. Ибо, должен в этом признаться, с того дня, как мне стало известно о пожаре на Сан-Сальвио и о несчастье, вызванном этим событием, в голове моей зародились подозрения, еще более ужасные, если только это возможно, чем уже имеющаяся у меня уверенность в преступлениях Орио Соранцо. Итак, я безо всякой определенной цели карабкался по грудам почерневших камней, как вдруг увидел, что навстречу мне по тропинке, ведущей со скалы, где ютились лишь козлы да аисты, идет старый пастух с собакой и стадом овец. Старик, удивленный тем, что я так упорно обследую эти развалины, наблюдал за мной с кротким доброжелательным видом. Сперва я почти не обратил на него внимания. Но, бросив взгляд на собаку, невольно вскричал от изумления и тотчас же поманил к себе, назвав ее по имени. Услышав кличку Сириус, белый борзой пес, так привязавшийся к вашей несчастной племяннице, подбежал, прихрамывая, и стал ласкаться ко мне с каким-то грустным видом. Из-за этого у меня и завязался разговор с пастухом.

«Значит, вы знаете этого бедного пса? — спросил он меня. — Вы, наверное, из тех, что прибыли сюда с командиром эскадры Мочениго? Просто чудо, как этот Сириус уцелел, не правда ли, синьор офицер?»

Я попросил его объясниться. Он рассказал мне, что на другой день после пожара в замке, когда рано утром он из любопытства подошел к развалинам, ему послышался какой-то заглушенный вой, словно доносившийся из-под нагромождения камней. Ему удалось расчистить каменную грудку, и он высвободил бедного пса из дыры, случайно образовавшейся, когда обрушились стены и башни, засыпав собаку, но не раздавив ее. Животное еще дышало, но одна лапа его попала под большой камень и сломалась. Пастух приподнял камень,

унес с собой борзого, лечил его, и тот поправился. Старик признался мне, что прятал собаку, так как боялся, чтобы ее не отняли у него люди с венецианских кораблей. А он очень привязался к псу.

«И не так уж из-за него самого, как в память его хозяйки, — добавил он.

— Она была такая добрая и красивая и часто оказывала мне помощь в моей нищете. Никак не избавиться мне от мысли, что погибла она не от несчастного случая, а от чьей-то злой воли! Но, пожалуй, — добавил еще старый пастух, — не очень-то благоразумно для старика говорить о таких вещах даже теперь, когда на острове нет гарнизона, замок разрушен и берега пустыньны».

— Однако говорить об этом необходимо, — каким-то изменившимся голосом произнес Морозини; он был так взволнован своими мыслями, что прервал рассказ Эдзелино. — Но необходимо говорить не просто на ветер, лишь по подозрению, ибо это еще серьезнее и еще гнуснее, если только такое возможно, чем все прочее.

— Надо полагать, — вмешался следователь, — что у графа Эдзелино имеются доказательства в поддержку всего им сказанного. Пусть он продолжает свой рассказ, не смущаясь никакими замечаниями, от кого бы они ни исходили.

Эдзелино подавил вздох.

— Я взял на себя, — сказал он, — очень трудную задачу. Когда правосудие не в силах исправить совершенное зло, дело его полно горечи и для того, кто его отправляет, и для того, кому оно оказывается. Тем не менее я доведу свой рассказ и исполню свой долг до конца. Я засыпал старого пастуха расспросами, и он рассказал мне, что когда синьора Соранцо жила в Сан-Сильвио, он видел ее довольно часто. На склоне горы у него был клочок земли, на котором он выращивал цветы и плоды. Он относил их синьоре, получая за это щедрое вознаграждение. Он видел, что она тает на глазах, и не сомневался, судя по разговорам замковых слуг, что супруг ее относится к ней с ненавистью или, во всяком случае, с пренебрежением. В день, предшествующий пожару старик опять приходил к ней; она выглядела лучше, но была очень возбуждена. «Послушай, — сказала она старику, — этот ларчик ты снеси лейтенанту Медзани» И она взяла со стола бронзовую шкатулочку и почти что сунула ее ему в руки. Но затем тотчас же взяла обратно и,

словно переменив намерение, сказала «Нет, может быть, за это тебе пришлось бы поплатиться жизнью. Не надо. Я найду какой-нибудь другой способ». И она отпустила его, поручив ему только пойти и передать лейтенанту, чтобы он без промедления пришел к ней. Старик выполнил поручение. Он не знал, явился ли лейтенант к синьоре Джованне по ее приказу. На следующий день пожар уничтожил башню, а Джованна Морозини погибла под ее развалинами.

Эдзелино умолк.

— Это все, что вы можете сообщить, синьор граф? — спросил следователь.

— Все.

— Можете ли вы предъявить доказательства?

— Я пришел сюда, не похваляясь тем, что могу предъявить доказательства истины. Я хотел только изложить правду, какова она есть, какова она во мне. Уверившись в преступлениях Орио Соранцо, я вовсе не собирался привлечь его к суду этого трибунала. Возвратившись в Венецию, я хотел только изгнать его из моего дома, из моей семьи и передать его судьбу в руки адмирала. Вы потребовали, чтобы я рассказал то, что знаю, — я это сделал. Я готов клятвенно подтвердить это перед всеми и против кого угодно. Орио Соранцо может утверждать противное, он вполне способен присягнуть в том, что я солгал. Ваша же совесть рассудит и ваша мудрость решит, кто из нас двоих, я или он, обманщик и подлец.

— Граф Эдзелино, — сказал Морозини, — Совет Десяти оценит ваши показания, как найдет нужным. Что касается меня, то я не могу быть судьей в этом деле, и как ни мучительны мои личные впечатления, я сумею воздержаться от их высказывания, раз обвиняемый находится в руках правосудия. Однако я должен действовать в некотором смысле как его защитник до тех пор, пока вы не сможете лишиться меня мужества это делать. Вы высказали и другое обвинение, о котором мне даже тягостно напоминать, столько оно возбуждает во мне горьких воспоминаний и горестных чувств. Несмотря на то, что вы только что сказали, я должен спросить вас, имеете ли вы хоть какое-нибудь доказательство злодеяния, жертвой которого якобы пала моя несчастная племянница?

— Прошу позволения ответить благородному Морозини, — сказал Стефано Барболамо, вставая, — ибо это моя обязанность. Это

по моему совету и настоянию, более того — под мою гарантию, граф Эдзелино рассказал то, что узнал от старого пастуха с Курцолари. Разумеется, вне связи со всем прочим это мало что доказывает, но дальнейшее следствие установит, что обстоятельства эти весьма важны. Я прошу, чтобы в протоколе занесено было все изложенное графом Эдзелино и чтобы допрос свидетелей продолжался.

Судья сделал знак, и одна из дверей открылась. Лицо, которое должны были ввести, несколько замешкалось. Когда же оно появилось, Орио внезапно сел, — он не мог устоять на ногах.

Это была Наам. Доктор с величайшим вниманием смотрел на Орио.

— Поскольку ваши превосходительства переходят к допросу третьего свидетеля обвинения, — сказал Барболамо, — я прошу дать мне возможность сообщить суду об одном недавно имевшем место обстоятельстве, которое, несомненно, распутает весь клубок этого дела. Именно из-за этого обстоятельства и я стал в течение последних нескольких дней противником обвиняемого.

— Говорите, — сказал судья. — Заседание это посвящено установлению обстоятельств дела, и мы призываем всех давать любые показания.

— Позавчера, — сказал Барболамо, — мессер Орио Соранцо, к которому, равно как и к его сообщнице, я в течение ряда дней допускался в качестве врача, заявил мне о своем глубочайшем отвращении к жизни и умолял меня достать ему яда, для того чтобы — так он говорил — он мог избежать медленной казни, во всяком случае не подобающей патрицию, если ложь и ненависть восторжествуют над правом и истиной. Не будучи в состоянии избавиться от его навязчивых просьб, но и не считая себя вправе вырвать обвиняемого из рук правосудия, я достал, ему немного сонного порошка и уверил его, что небольшой щепотки достаточно, чтобы освободить его от жизни. Он меня горячо благодарил и обещал не покушаться на самоубийство до того, как трибунал вынесет свой приговор.

Вечером меня вызвал начальник тюрьмы, чтобы я оказал помощь арабской девушке, сообщнице Орио. Тюремщик, войдя в ее камеру через несколько часов после того, как он принес ей пищу, нашел ее погруженной в беспамятство, и возникло опасение, что она

отравилась. Действительно, я убедился, что она спит, находясь под явным воздействием снотворного. Я осмотрел остатки пищи и нашел в чашке с питьем следы порошка, данного мной мессеру Соранцо. Я разузнал, что именно ей дают, и тюремщик сообщил мне, что мессер Соранцо ежедневно посылает Наам различные припасы получше тех, что даются в тюрьме, между прочим напитков из меда и лимонного сока, который она всегда употребляла. Я сам с разрешения начальника тюрьмы согласился из-за болезненного состояния заключенной доставлять ей припасы, смягчающие тюремный режим. Остаток напитка я отнес аптекарю, у которого купил порошок; он произвел анализ и убедился, что это то же самое снадобье. Я расследовал также обстоятельства, при которых Наам получила от своего господина этот напиток, и пришел к выводу, что мессер Орио Соранцо, опасаясь, видимо, каких-либо невыгодных для него разоблачений со стороны своей невольницы, решил ее отравить и для этой цели использовал меня. За это, должен сказать, я ему весьма благодарен, ибо недоверие и антипатия, которые у меня к нему возникли в тот же день, когда я имел честь с ним познакомиться, наконец-то оправдались и совесть моя уже не находится в разладе с внутренним чутьем. Я не стану, впрочем, оправдываться перед мессером Орио в той враждебности, которую со вчерашнего дня испытываю к нему в этом деле. Безразлично, что он обо мне думает. Но в ваших глазах, благородный и почтенный синьор Морозини, я не хотел бы прослыть человеком, преследующим побежденных и бьющим лежачего. Если сейчас я выступаю в роли, совершенно противной моим вкусам и привычкам, то лишь потому, что едва не оказался сообщником нового преступления мессера Соранцо и что уж если надо выбирать между положением борца за правду, то я все же предпочту второе.

— Все это, — вскричал Орио, весь дрожа и несколько растерявшись, — сеть гнусной лжи, сплетенной графом Эдзелино с целью погубить меня! Если бы эта бедная девушка, — добавил он, указывая на Наам, — могла понимать все, что говорится вокруг нее и о ней, если бы она могла на это ответить, она бы оправдала меня во всем, что мне приписывается. И хотя она запятнала себя преступлением, я все же решился бы призвать ее в свидетели...

— Вы можете это сделать, — сказал судья.

Тогда Орио обратился к Наам по-арабски, заклиная ее снять с него своими показаниями все обвинения. Но она молчала, даже не повернув к нему головы. Казалось, она его даже не слышит.

— Наам, — сказал судья, — сейчас вас подвергнут допросу. Захотите ли вы на этот раз отвечать или вы действительно не в состоянии это сделать?

— Она не может, — вмешался Орио, — ни ответить на обращенные к ней слова, ни даже понять их. Здесь, кажется, нет переводчика, и если вы, милостивые синьоры, позволите, я ей передам...

— Не стоит трудиться, Орио, — произнесла Наам твердым голосом и на довольно внятном венецианском диалекте. — Видно, ты довольно прост, невзирая на всю свою ловкость, если можешь думать, что, прожив целый год в Венеции, я не научилась понимать язык, на котором здесь говорят, и сама на нем объясняться. У меня были свои причины скрывать это от тебя, у тебя были свои — для того, чтобы поступать со мной, как ты поступал. Послушай, Орио, мне надо многое тебе сказать — и сказать перед другими людьми, раз ты сам сделал небезопасными наши беседы наедине, раз твоя подозрительность, неблагодарность и злость разбили надгробный камень могилы, где я погребла себя заживо вместе с тобой.

Наам была настолько слаба, что ей разрешили говорить сидя, и она откинулась на спинку деревянной скамьи неподалеку от места, где сидел Орио. Головой она небрежно опиралась о верхнюю часть руки и, обращаясь к Орио, слегка обернулась к нему, так что говорила с ним, так сказать, через плечо, но не пожелала повернуться к нему совсем или хотя бы взглянуть на него. В ее позе и манере говорить было столько презрения, что Орио ощутил, как отчаяние овладевает им, и у него явилось искушение встать и объявить себя виновным в каких угодно преступлениях, только бы поскорее покончить со всеми этими унижениями.

Наам продолжала свою речь с каким-то ужасающим спокойствием. Ее глаза, ввалившиеся от лихорадки, временами, казалось, заволакиваются, словно она еще не совсем очнулась от летаргии. Но усилием воли она тотчас же взбадривала себя, и за этим упадком сил следовали вспышки какого-то мрачного пламени.

— Орио, — говорила она, не меняя позы, — я тебя крепко любила и одно время считала таким великим человеком, что убила бы родного отца и братьев, чтобы тебя спасти. Еще вчера, несмотря на все зло, что ты творил у меня на глазах и что я сама творила ради тебя, даже самые беспощадные судьи, даже самые жадные до крови и пыток палачи не смогли бы вырвать у меня ни единого слова, способного тебе повредить. Я тебя уже не чтילה, не уважала, но еще любила и, во всяком случае, жалела, и раз уж мне суждено было умереть, я вовсе не хотела тащить тебя за собой в могилу. А сегодня все совсем по-другому, сегодня у меня нет к тебе ничего, кроме ненависти и презрения, ты сам знаешь почему. Аллах велит мне сделать так, чтобы ты понес кару. Ты ее понесешь, и у меня даже жалости к тебе не будет.

Ради тебя я убила своего первого господина, патрасского пашу. Тогда я первый раз пролила кровь. На один миг мне показалось, что грудь моя разорвется и голова расколется. С тех пор ты нередко упрекал меня в подлости и свирепости. Пусть это обвинение падет на твою голову!

Тогда я спасла тебя от смерти и потом не раз еще спасала. Когда ты сражался против своих соплеменников во главе пиратов, я заслонила тебя своим телом. Да и впоследствии бывало, что моя окровавленная грудь принимала на себя удары, предназначенные ускоку.

Как-то вечером ты сказал: «Мои сообщники мешают мне. Я погибну, если ты не поможешь мне уничтожить их». Я ответила. «Так уничтожим их». Было два смелых матроса, которые столько раз мчали тебя в бурю по волнам и каждую ночь доставляли к порогу твоего замка с такой верностью, ловкостью и так незаметно, что их перехвалить и вознаградить-то по-настоящему было нельзя. Ты мне сказал: «Убьем их», и мы их убили. Были Медзани, Леонцио и Фремио-ренегат; они делили с тобой твои опасные дела, хотели поделить и богатую добычу. Ты мне сказал: «Отравим их», и мы их отравили. Были слуги, солдаты, женщины, которые могли разобраться в твоих замыслах и расспросить о них мертвецов. Ты мне сказал: «Запугаем и рассеем всех, спящих под этой крышей», и мы подожгли замок.

Я принимала участие во всем этом, но душа моя содрогалась, ибо для женщин проливать кровь — это мерзость. Я выросла в солнечной

стране, среди мирных пастухов, и жестокая жизнь, к которой ты меня принудил, так же мало походила на обычаи моего детства, как твоя голая, исхлестанная ветрами скала — на зеленые долины и ароматные деревья моей родины. Но я убеждала себя, что ты воин и князь и что все позволено тем, кто управляет людьми и ведет с ними войну. Я говорила себе, что аллах велит им жить на высокой крутой скале, куда они могут взобраться только по трупам и где им не удержаться надолго, если они не станут сбрасывать в пропасть тех, кто пытается до них дотянуться. Я говорила себе, что опасность облагораживает убийство и грабеж и что, в конце концов, ты так часто подвергал опасности свою жизнь, что завоевал себе право распоряжаться жизнью своих рабов после победы. Наконец, я старалась находить великими или же хотя бы законными все твои веления; и так было бы всегда, если бы ты не убил свою жену.

У тебя была жена — прекрасная, целомудренная и покорная. По красоте своей она достойна была разделять ложе султана, верностью заслуживала твою любовь, а кротостью — доброжелательство и уважение, которые я к ней питала. Ты мне сказал: «Я спасу ее от пожара. Я прежде всего пойду за нею, на руках своих вынесу из замка и доставлю на свой корабль». И я тебе поверила, мне и в голову не приходило, что ты способен на то, чтобы оставить ее во власти огня.

Однако, не довольствуясь тем, что ты предал ее пламени, и, видимо, опасаясь, чтобы я не устремилась ей на помощь, ты вошел к ней и поразил ее ударом кинжала. Я видела ее, всю залитую кровью, и я сказала себе: человек, нападающий на сильных, велик, ибо он храбр; человек, способный раздавить слабого, достоин презрения, ибо он трус. Я оплакивала твою жену и над телом ее поклялась, что в тот день, когда ты вздумаешь обойтись со мною как с ней, смерть ее будет отомщена.

Однако я видела, что ты страдаешь. Я поверила твоим слезам и простила тебя. Я последовала за тобой в Венецию, я была тебе верна и предана, как собака — тому, кто ее кормит, как конь — тому, кто его взнуздal. Я спала на полу, на пороге твоей комнаты, как пантера у входа в пещеру, где ютится ее потомство. Я никогда ни с единым словом не обращалась к кому-либо, кроме тебя. Я никогда не издала ни единой жалобы и даже взглядом ни разу тебя не упрекнула. У себя во дворце ты собирал своих сотоварищей по распутству, ты окружал

себя одалисками и плясуньями. Я сама подавала им угощение на золотых блюдах и наполняла их кубки вином, которое закон Мухаммеда запрещал мне подносить к своим губам. Я принимала все, что тебе нравилось, все, что представлялось тебе необходимым и приятным. Не для меня существует такое чувство, как ревность. Впрочем, мне казалось, что, переменив одежду, я переменяла и свой пол. Я считала себя твоим братом, сыном, другом и была счастлива — только бы ты относился ко мне доверчиво и дружелюбно.

Ты захотел жениться вторично и напрасно скрыл это от меня. Я уже знала ваш язык, хоть ты и считал, что мне никогда ему не научиться. Я знала все, что ты делал. Я никогда не воспрепятствовала бы твоему намерению. Я бы любила и уважала твою жену, служила бы ей, как законной своей госпоже, ибо про нее говорили, что она такая же красивая, целомудренная и кроткая, какой была первая. А если бы она оказалась коварной, если бы она пренебрегла своим долгом, затеяв против тебя заговор, я помогла бы тебе умертвить ее. А ты боялся меня и свою новую любовь окружал оскорбительной для меня тайной. Но я только наблюдала, ни слова тебе не говоря.

Твой враг возвратился. До того я видела его только один раз, у меня не могло быть к нему ни любви, ни ненависти. Но я скорее всего склонна была бы уважать его за храбрость и его несчастья. Однако он вынужден был прогнать тебя от своей сестры, обвинить тебя и хотел погубить, а я поэтому вынуждена была избавить тебя от него. Ты велел мне найти какого-нибудь bravo [13](#), чтобы его убить. Я же могла довериться только себе, и я попыталась сделать это сама. Я нанесла удар слуге вместо хозяина, но это был такой удар, на какой ты-то сейчас уже не способен, ибо совсем раскис и ослабел и постыдно дрожишь за свою жизнь. Вместо признательности за это новое преступление, которое я совершила ради тебя, ты оскорблял меня бранными словами и даже поднял на меня руку. Еще мгновение — и я убила бы тебя. Мой кинжал к тому времени еще не остыл. Но после того, как первый порыв гнева прошел, я сказала себе, что ты человек слабый, истасканный, растерявшийся от страха смерти. Мне стало жаль тебя, и, зная, что мне все равно грозит смерть, потеряв всякую надежду и всякое желание жить, я не стала тебя обвинять. Меня пытали, Орио! А ты так этого боялся, потому что думал, что пыткой у меня вырвут правду. А я не сказала ни слова. И в награду за это ты

вчера пытался меня отравить. Вот почему я сегодня говорю. Я все сказала.

С этими словами Наам встала, бросила на Орио один лишь взгляд — но он был как сталь — и затем обратилась к судьям:

— Вы же теперь дайте мне скорую смерть. Это все, чего я прошу.

Воцарилось ледяное молчание, казавшееся одним из установлений этого страшного трибунала; его нарушал только один звук — то стучали от страха зубы Соранцо. Морозини сделал над собой величайшее усилие, чтобы выйти из оцепенения, в которое поверг его этот рассказ, и обратился к доктору:

— Есть ли у этой девушки какие-нибудь доказательства убийства моей племянницы?

— Знакомо ли вашей милости вот это? — сказал доктор, подавая адмиралу бронзовый ларчик художественной работы, на котором выгравированы были имя и герб Морозини.

— Я сам подарил его племяннице, — произнес адмирал. — Замок сломан.

— Это я его сломала, — молвила Наам, — так же как и печать письма, которое находилось в шкатулке.

— Значит, вам поручено было передать его Медзани?

— Да, ей, — ответил доктор. — Она оставила его у себя, ибо, с одной стороны, знала, что Медзани предаст республику и не постыит за интересы синьоры Джованны, а с другой — подозревала, что в ларчике находится нечто такое, что может погубить Соранцо. Она спрятала этот залог, считая, что впоследствии вернет его синьоре Джованне. Та же всецело доверяла Наам и, несомненно, думала, что письмо это до вас дойдет Наам и передала бы его вам, если бы не опасалась повредить Соранцо. Но она сохранила шкатулочку, как драгоценное воспоминание о сопернице, которую любила. Она не расставалась с ней и лишь вчера вечером, убедившись, что Орио пытался ее отравить, сорвала печать с письма и, прочитав его, передала мне.

Адмирал захотел прочесть письмо. Но судья потребовал чтобы, его вручили сперва ему, на что он имел право в силу своих неограниченных полномочий. Морозини подчинился, ибо во всем венецианском государстве не было такой властной и всеми чтимой головы, которая не склонялась бы перед Советом Десяти. Судья

ознакомился с письмом, а затем отдал его Морозини. Тот сперва прочел его про себя, а затем стал читать вторично уже вслух, сказав, что делает это для того, чтобы воздать должное чести Эдзелино и показать, что полностью отрекается от Орио.

В письме говорилось:

«Дорогой дядя, или, вернее, возлюбленный мой отец, боюсь, что нам уже не свидеться на этом свете. Вокруг меня строятся зловещие планы, мне грозят погибельные намерения, внушенные ненавистью. Я сделала ужасную ошибку, приехав сюда без вашего ведома и согласия, и, может, быть, понесу за это слишком суровую кару. Но что бы ни случилось и какие бы слухи обо мне ни распространились, знайте, что у меня нет ни перед кем даже малейшей вины, и эта мысль дает мне мужество презирать все угрозы и спокойно принять нависшую надо мной смерть. Может быть, уже через несколько часов меня не будет в живых. Не проливайте слез. Я даже слишком долго жила. Если бы мне удалось выбраться из этого гибельного положения, то лишь для того, чтобы отречься от мира в каком-нибудь монастыре, как можно дальше от супруга, ибо он позор для всего общества, враг своей страны, одним словом

— ускор! Да избавит вас бог от необходимости прибавить к этому, когда вы кончите читать письмо: «и убийца вашей злосчастной дочери Джованны Морозини, которая до последней минуты будет любить и благословлять вас как отца».

Закончив чтение письма, Морозини встал и отнес его на стол, за которым сидели судьи. Затем он низко поклонился им и пошел к выходу.

— Берете ли вы на себя, милостивый синьор, защиту племянника вашего Орио Соранцо? — спросил председатель.

— Нет, мессер, — суровым тоном ответил Морозини.

— Может быть, к сделанным здесь разоблачениям ваша милость пожелает что-нибудь добавить либо в подкрепление обвинений, либо ради их смягчения?

— Нет, мессер, — снова ответил Морозини. — Но если мне позволено будет высказать одно личное пожелание, то я обращаюсь к судьям с мольбой о снисхождении к этой девушке, которую незнание истинной веры и варварские нравы ее племени толкнули на преступления, противные ее благородному сердцу.

Председатель ничего не ответил. Он поклонился военачальнику, который обернулся к графу Эдзелино и крепко пожал ему руку. Так же попрощался он с доктором, а затем быстро вышел, даже взгляда не бросив на племянника. В тот миг, когда перед ним открывали дверь, любимый пес Эдзелино, нетерпеливо дожидавшийся хозяина, ворвался в зал несмотря на стражу, пытавшуюся его отогнать. Это был большой борзой пес, ковылявший на трех ногах. Он устремился к хозяину, но, пробегая мимо Наам, как будто узнал ее и остановился, чтобы приласкаться к ней. Увидев затем Орио, он бросился на него с бешеной злобой, и только властный призыв Эдзелино помешал ему вцепиться в горло своему прежнему господину.

— И ты оставляешь меня, Сириус? — произнес Орио.

— И он произносит тебе приговор! — сказала Наам.

Председатель сделал знак сбирам, и они увели Орио. За ним закрылась внутренняя дверь Дворца дождей. Он никогда больше не переступал ее порога, и о нем больше никто никогда не слышал.

Люди видели на следующее утро, как из тюрьмы вышел монах. Из этого сделали вывод, что ночью кто-то был казнен.

На том же заседании Наам была приговорена к смерти. Она выслушала приговор и вернулась в темницу с безразличием, поразившим всех присутствовавших. Доктор и граф Эдзелино удалились, расстроенные ее судьбой, ибо, невзирая на убийство Даниэли, они не могли не восхищаться мужеством девушки, не сочувствовать ей.

Наам, так же как и Орио, не появлялась больше в Венеции.

Тем не менее уверяют, что вынесенный ей приговор не был приведен в исполнение. Один из членов трибунала, пораженный ее красотой, диким величием ее души и неукротимой гордостью, загорелся к ней пламенной, почти безрассудной страстью. Говорят, что он поставил на карту свое положение, свою репутацию, свою жизнь ради того, чтобы спасти ее. Если верить слухам, он спустился ночью в ее камеру и предложил сохранить ей жизнь при условии, если она согласится стать его любовницей и провести всю жизнь, скрываясь в его имении в окрестностях Венеции.

Сперва Наам отказалась.

Но ее неизлечимое отчаяние, ее глубочайшее презрение к жизни только разожгли страсть этого человека. И поистине Наам подходило

быть любовницей инквизитора! Он так донимал ее, что наконец она сказала:

— Лишь одно примирило бы меня с жизнью — надежда увидеть страну, где я родилась. Если ты дашь слово отпустить меня туда через год, я согласна на это время стать твоей рабой. Раз мне надо выбирать между рабством и смертью, я согласна на рабство, с тем чтобы оно было залогом моей свободы в дальнейшем.

Договор был заключен. Палач, которому поручено было отвезти Наам в закрытой гондоле к Муранскому каналу, где осужденных бросали в воду, уже собирался надеть ей на голову роковой мешок, когда шесть человек, подплывших на легком челноке, вооруженных до зубов и замаскированных, напали на него и отняли у него жертву.

Об этом событии пошло много разговоров. Многие думали даже, что Орио спасся и вместе со своей сообщницей бежал за границу. Другие предполагали, что Морозини, тронутый привязанностью Наам к его племяннице, дал ей возможность избежать карающей десницы правосудия. Настоящей истины так и не узнали.

Однако утверждают, что через год в имении судьи стали твориться весьма странные вещи. Там появился какой-то призрак, нагонявший ужас на всю окрестность. У судьи, видимо, происходили с этим существом жестокие споры, — люди слышали его умоляющий голос и угрожающие речи призрака:

— Раз ты не хочешь сдержать свое слово, то лучше убей меня, так как я пойду и отдамся в руки правосудия. Мое обещание выполнено, теперь твоя очередь.

Местные кумушки сделали из этого вывод, что грозный судья заключил договор с самим чертом. В дело, несомненно, вмешалась бы инквизиция, если бы внезапно весь шум не прекратился и в имении не воцарилось снова спокойствие.

Как-то, лет через пять после всех этих событий, кучка добропорядочных горожан попивала кофе в палатке, разбитой на набережной деи Скьявони. Они заметили, как патрицианская семья, прогуливавшаяся вдоль набережной, села в свою гондолу пониже кофейни и лодка медленно отплыла.

— Бедная синьора Эдзеллини! — произнес один из горожан, следя глазами за удаляющейся гондолой. — Она еще очень бледна, но вид у

нее вполне разумный.

— Она совсем выздоровела! — отозвался другой горожанин. — Почтенный доктор Барболамо, всюду ее сопровождающий, такой умелый врач и такой преданный друг!

— Она и впрямь сходила с ума? — спросил третий.

— Да, но в безумии была кроткой и печальной. Потеря, а затем внезапное возвращение брата, графа Эдзелино, так потрясли ее, что она долго не хотела верить, что он живой человек: она принимала его за привидение и, едва завидев, обращалась в бегство. Когда его не было, она плакала о нем; когда он появлялся, боялась.

— Да нет, не в этом была настоящая причина ее болезни, — сказал второй горожанин. — Разве вы не знаете, что она должна была выйти замуж за Орио Соранцо как раз тогда, когда он исчез вон там?

И с этими словами венецианский гражданин многозначительным жестом указал в сторону канала, ведущего к тюрьме, в двух шагах от палатки.

— И вот тому доказательство, — вмешался еще один собеседник, — в своем безумии она наряжалась во все белое, а вместо свадебного букета прикалывала к корсажу засохшую лавровую ветку.

— Что же это означало? — спросил первый.

— Что означало? Сейчас объясню. Первая жена Орио Соранцо была влюблена в графа Эдзелино. Она подарила ему веточку лавра и сказала: когда женщина, которую полюбит Соранцо, станет носить этот букет, Соранцо умрет. Предсказание и оправдалось. Эдзелино отдал букет сестре, и Соранцо исчез, словно в воздухе растворился, как многие другие.

— И чтобы дож ни слова не сказал, не побеспокоился о племяннике! Никак я этого не пойму!

— Дождь? Дождь в то время был всего-навсего адмиралом Морозини; да и что такое дож перед Советом Десяти?

— Клянусь мощами святого Марка! — вскричал один достойный негодяй, который еще ничего не говорил. — Все, что вы тут рассказываете, напомнило мне об одной удивительной встрече, которую я имел в прошлом году, когда путешествовал по Йемену. Закупив в самой Мекке нужный мне запас кофе, я решил побывать в Мекке и в Медине.

Когда я прибыл в Медину, там как раз хоронили одного молодого человека, которого все считали святым и о котором передавали всякие чудеса. Никто не знал ни имени его, ни откуда он родом. Он говорил, что он араб, и похоже было на то. Но, наверное, он много лет прожил вдали от родины, ибо у него не было ни друзей, ни семьи, которым бы он мог или пожелал открыться. Он казался совсем юношей, хотя по мужеству своему и жизненному опыту был явно старше.

Он жил в полном одиночестве, бродил все время по горам, а в городах появлялся только для того, чтобы творить благочестивые деяния и совершать паломничества к святыням. Говорил он мало, но речи вел мудрые. Он, видимо, совсем утратил интерес ко всему земному, радовался и печалился лишь чужой радостью и горем. Он со знанием дела ухаживал за больными, и хотя он не был щедр на советы, те, что он все же давал, всегда приносили пользу, словно глас божий говорил его устами. Его только что нашли умершим, — он лежал, распростершись перед гробницей пророка. Тело перенесли к мечети и положили на пороге. Священники и все набожные люди читали кругом него молитвы и курили ладаном. Проходя мимо катафалка я бросил на него взгляд. Каково же было мое удивление, когда я узнал... Угадайте, кого?

— Орио Соранцо! — вскричали все присутствующие.

— Да нет же, я ведь говорю о юноше! Это был ни более ни менее, как тот красивый паж по имени Наам — помните? — тот, что всюду и везде ходил за мессером Орио Соранцо, в такой богатой и странной одежде.

— Подумать только! — сказал первый горожанин. — А ведь злые языки только и делали, что болтали, будто это женщина!

КОММЕНТАРИИ

Зиму 1837-1838 года Жорж Санд проводит в Ноане. Деревенское уединение благоприятствует усиленной творческой работе, от которой писательницу не могут отвлечь домашние хлопоты и неурядицы. В январе она приступает к новому роману — «Ускок», замысел которого у нее уже давно созрел. Работа спорится, и два месяца спустя Жорж Санд отсылает рукопись издателю журнала «Ревю де де монд». 15 мая 1838 года в этом журнале была напечатана первая часть «Ускока», за которой вскоре последовали три остальные. В том же году роман вышел отдельным изданием. Деление на части в нем было уничтожено, однако текст не подвергся авторской правке. Сохранялся он неизменным и во всех последующих изданиях.

По замыслу автора «Ускок» должен был входить в серию венецианских повестей, рассказываемых в одном дружеском кружке. Однако с другими повестями серии — «Маттеа» (1835), «Последняя Альдини» (1837), «Мозаичисты» (1837), «Орко» (1838) — «Ускока» объединяют лишь общие действующие лица пролога. Действие «Ускока» происходит в конце XVII века в Венеции и на островах Ионического архипелага. Необходимые для исторического и местного колорита сведения писательница заимствовала из восьмитомной «Истории Венецианской республики» П.Дарю. Пригодились и личные впечатления, вынесенные из поездки в Венецию в 1834 году. Однако основным «источником» произведения явились восточные поэмы Байрона, особенно «Лара» и «Корсар» (1814).

В прологе автор заявляет о своем намерении рассказать историю Корсара в прозе, более соответствующую исторической правде, чем поэтические выдумки Байрона. Однако Жорж Санд менее всего придает значение фактической достоверности происшествий, о которых повествуется в литературном произведении, свободно обращается с хронологией, путает годы и даже столетия, так как видит свою задачу не в восстановлении подлинных событий венецианской истории, а в борьбе с обаянием аморализма, в котором, по ее мнению, в значительной степени был повинен Байрон.

Творчество Байрона неизменно восхищало Жорж Санд и в ранний период ее литературной деятельности оказало на нее сильнейшее влияние. Однако в конце 30-х годов Жорж Санд пришла к мысли, что воздействие Байрона на общественное сознание и нравы, социальный эффект творчества гениального английского поэта были отрицательными. Силою своего поэтического дара Байрон сделал порок если и не привлекательным, то, во всяком случае, интересным, и в этом, по мнению Жорж Санд, была его величайшая художественная ошибка. Поэтому Жорж Санд хочет пойти вслед за Байроном, чтобы «объяснить» в своем романе то, о чем «умолчал» английский поэт. Она стремится развенчать, «дегероизировать» байронического героя, показать глубину нравственного падения, в которую толкнули его эгоизм и отсутствие твердых моральных устоев.

Несмотря на очевидную морализаторскую тенденцию, «Ускок», как почти все произведения Жорж Санд тех лет, навлек на нее обвинения в безнравственности, шедшие из враждебного прогрессивной и демократической литературе лагеря. Однако у читателя, свободного от предубеждений и мыслящего не столь догматично и упрощенно, «Ускок» неизменно пользовался успехом. В год смерти французской писательницы (1876) Ф.М.Достоевский вспоминал, какое удивительное впечатление произвел на него, юношу, этот роман, который был первым прочитанным им произведением Жорж Санд. «Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть „Ускок“, — одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь» Особенно пленили Достоевского «целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого, сдержанного тона рассказа».

В русском сокращенном переводе «Ускок» появился в 1838 году в «Библиотеке для чтения», хотя и относившейся в то время к Жорж Санд крайне неприязненно. С тех пор роман не переиздавался. В настоящем переводе исправлены некоторые наиболее очевидные неточности и анахронизмы, что, впрочем, всякий раз оговорено в комментариях.

...воевал на стороне греков... — Байрон участвовал в войне греческих патриотов против турецкого владычества в 1823-1824 годах.

История Фрозины. — В примечаниях к «Гяуру» Байрон сообщает, что сюжет поэмы был ему подсказан судьбою одной красавицы из Янины, Фрозины, якобы утопленной местным пашой по навету.

Керкирец — уроженец Керкиры (иное название острова и города Корфу).

...в эпоху морейских войн. — Мореей назывался прежде полуостров Пелопоннес. Венецианская республика, стремившаяся овладеть ключевыми позициями в Адриатическом и Средиземном морях, на протяжении многих веков оспаривала у Оттоманской Порты господство над Мореей и вела у ее берегов кровопролитные войны. В конце XVII века ей удалось завладеть Мореей, но уже в начале следующего столетия Морея вновь была захвачена турками.

Эдзелино да Романо — древний род синьоров Веронских и Падуанских.

Ренегат — христианин, перешедший в иную веру.

Конрад — герой поэмы Байрона «Корсар».

...император австрийский... в Венеции проводит в жизнь все папские запреты... — В 1815-1866 годах Венеция входила в состав Австрийской империи.

...можно не опасаться, что мой рассказ станет там известен... — Предсказание писательницы сбылось, и роман «Ускок» декретом от 30 марта 1841 года действительно был включен в индекс запрещенных книг.

В конце семнадцатого столетия... — В подлиннике XV век. Исправляем явную опisku Жорж Санд.

Маркантонио Джустиньяни был вождем Венецианской республики в 1683-1688 годах.

Иеремия. — Согласно библейской легенде пророк Иеремия предсказал разрушение Иерусалима и гибель иудейского царства.

Франческо Морозини (1618-1694) — один из крупнейших флотоводцев своего времени, генералиссимус венецианского флота. После смерти Джустиньяни (1688) стал вождем Венецианской республики.

Совет Десяти — тайный совет, имевший неограниченное право контроля над всей государственной и частной жизнью в Венецианской республике.

...началась подготовка к возобновлению военных действий. — Речь идет об очередной морской экспедиции в Морею.

..отличившись при осаде Корона. — Корон, крепость на юге Пелопоннеса (на современных картах Корони), был взят венецианскими войсками еще в начале 1685 года.

Лелантский залив — в настоящее время Коринфский залив.

Штразолд — австрийский военачальник на службе у Венецианской республики, командовавший операциями на суше во время морейской кампании 1684-1687 годов.

Острова Курцолари — прежнее название островов Эхинадес в Ионическом море.

Эголия — область на северо-западном побережье Балканского полуострова.

Кефалония (на некоторых картах Кефаллиния) — самый большой из Ионических островов.

Патрас — старое название города Патры (Патра, Патре).

Вы знаете конец этого приключения. — Имеются в виду II и III песни поэмы Байрона «Корсар»

Мессения — область на юго-западе Пелопоннеса.

Зонте — итальянское название Закинфа, одного из Ионических островов.

«Святой Марк! Вперед!» Венецианцы считают святого Марка покровителем своего города.

Битва при Лепанто. — При Лепанто (в настоящее время Нафпактос) 7 октября 1571 года объединенный флот коалиции, включавший Испанию, Венецианскую республику и Папское государство, под командованием дона Хуана Австрийского (1547-1578) нанес сокрушительный удар турецкому морскому могуществу.

Там был генералиссимус Веньеро, который в свои семьдесят шесть лет совершал чудеса храбрости... — На самом деле Себастьяно Веньеро (1502-1578), командовавшему венецианским флотом в битве при Лепанто, в то время было шестьдесят девять лет.

Проведитор — правитель, назначавшийся Венецианской республикой в завоеванные провинции.

Брагадино Маркантонио (1523-1571) — военачальник, командовавший обороной венецианской крепости Фамагуста на острове Кипр, сдавшейся туркам после длительной осады 1 августа

1571 года. Явившись для переговоров в лагерь турецкого военачальника паши Мустафы, Брагадино был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.

...в мифе о рождении Венеры скрыт глубокий смысл. — Согласно греческому мифу богиня красоты Афродита (у римлян Венера) родилась из морской пены.

...войн, которые республика вела при Маркантонио Меммо и Джованни Бембо. — Маркантонио Меммо был дожем Венецианской республики в 1612-1616 годах, Джованни Бембо — в 1616-1618 годах. При них совершено несколько военных экспедиций против ускоков далматинского побережья Адриатики.

Галиот — легкое парусно-весельное судно типа галеры.

Каик — небольшая весельная лодка.

Тартана — легкое парусное судно.

Маниот, или майнот — житель области Майна (Мани) в южной части Мореи.

Мандора — музыкальный инструмент, напоминающий лютню.

Фиаки — иное название острова Итака.

Пьомби — тюрьма в Венеции, расположенная во Дворце дожей под крышей, крытой листовым свинцом (отсюда ее название *piombi* — свинцовые листы). Пребывание в ней было особенно мучительно из-за сильной жары летом и холода зимой.

Авраил — у мусульман ангел смерти.

Акрокероний — доктор, один из собеседников кружка, в котором рассказывается «Ускок».

..T'was midnight — all was slumber... — См. Байрон, «Лара» песнь первая, строфа XII.

...не мешай мне бросить еще несколько пригоршней этих «дожей»... — На золотых монетах Венецианской республики, цехинах, чеканилось изображение дожа, преклонившего колена перед святым Марком.

...ночные дела во Дворце дожей? — В резиденции венецианских дожей помещались суд и инквизиция.

...водрузил свое победоносное знамя над Пиреем. — Пирей был взят венецианским флотом в 1687 году.

Териак — лекарственное средство сложного состава, в старину считалось, что оно излечивает от всех болезней.

Кассия — лекарственное растение.

Слово магнетизм еще не было придумано. — В XVIII веке «животным магнетизмом» назывались гипноз и внушение. Врач, практикующий гипноз, назывался магнетизером.

...слова Ж.-Ж.Руссо... — О своем посещении венецианского приюта (а не монастыря, как пишет Жорж Санд) Руссо рассказал в седьмой книге «Исповеди».

Георба — струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни.

Эреб. — В древнегреческой мифологии — мрак преисподней.

Сбиры — полицейские в итальянских государствах.

...возвращаться на волю по мосту Вздохов. — Мост Вздохов соединял Дворец дожей, в котором заседал Совет Десяти, с венецианской тюрьмой, где также совершались и казни. По этому мосту осужденного вели на казнь или в тюрьму, из которой, при состоянии правосудия в ту эпоху, у него было мало надежд когда-либо выйти на свободу. С моста Вздохов осужденный мог бросить последний взгляд на Венецию.

Великий совет — законодательный орган Венецианской республики.

Шестнадцатого июня тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года. — В оригинале 1686 год. Исправляем явную ошибку Жорж Санд.

...чтобы дож... не побеспокоился о племяннике! — Франческо Морозили стал дожем Венеции в 1688 году.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

1

дворике с цветниками (итал.)

2

зловещего предупреждения (итал.)

3

Пелопоннеского (итал.)

4

робкого вздоха (итал.)

5

роковая стрела (итал.)

6

жестокие муки (итал.)

7

отчаявшаяся душа (итал.)

8

горькую судьбину (итал.)

9

мой идол (итал.)

10

жестокой (итал.)

неблагодарной (итал.)

сладостной надежды (итал.)

13

наемного убийцу (итал.)